

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



*С. Трофокова*

**ЛЕВИТАН**





**ЖИЗНЬ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ**

**СЕРИЯ БИОГРАФИЙ**  
*Основана в 1933 году М. ГОРЬКИМ*

**ВЫПУСК**

**20**

**[810]**

**МОСКВА 1960**

*С. Пророкова*

# ЛЕВИТАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ  
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

\*

М., «Молодая гвардия», 1960



**Портрет работы В. Серова. 1901 г.**

# I

## ЧЕЛОВЕК, ПОМОГАЙ СЕБЕ САМ!

### СОЖЖЕННЫЕ ПИСЬМА

Ночь была особенно тяжелой. Больной страдал. Сердце так болело, что казалось, будто сквозь него протягивают тугие веревки.

Рядом — доктор, близкий, родной человек. Он непрерывно слушает угасающий пульс Левитана. Дает лекарства, делает уколы и вновь слушает. Удары более различимы, сильнее, дыхание ровнее.

Еще раз доктор Трояновский вырвал Левитана у смерти. Но каким напряжением сил, какой точностью врачебных мер!..

— Спасибо, дорогой Иван Иванович, — скорее угадывает по губам, чем слышит Трояновский.

Сколько таких тяжелых ночей выдержит измученное сердце?

Доктор ушел. Левитан подозвал брата.

Адольф Ильич склонился над изголовьем больного. Левитан просил принести все письма, присланные ему за многие годы, и сжечь их.

Возражать бессмысленно. Да Адольф Ильич и сам поступил бы так же. Замкнутость характера, редкая сдержанность были семейными чертами. Двери в личную жизнь у них обоих всегда плотно закрыты.

Он исполнил суровый приказ брата.

Пачки писем летели в огонь. На фоне почерневших от копоти стенок камина мелькали страницы, освещенные пламенем.

Левитан смотрел на борьбу красок: черной, желтой, оранжевой. В памяти возникали имена людей, связанных с ним долгие годы. Он видел, как языки пламени листают страницы с мудрыми, добрыми, а порой озорными строками, обращенными к нему лучшим другом всей жизни — Антоном Чеховым. Больше ста писем великого писателя поглотил огонь.

А вот и маленькая пачка скупого на слова, сдержанного, но так умеющего ценить человека Валентина Серова...

Мало мы знаем писем этого замечательного художника. Их стало еще меньше в трагический миг, когда Левитан прощался с жизнью.

Маленькие, изящные конверты, от которых пахнет духами: терпкими, острыми или тонкими, едва ощутимыми. Поклонницы, подруги,



любимые... Короткие записочки, назначенные свидания. Счастье и упреки.

Все — в огонь. Он последний неистово полистал эти исповеди сердец, полистал и превратил в пепел.

И снова письма друзей. Нестерова, с которым прошел всю жизнь рядом, кто знал его суровую юность, делил тревоги зрелости, с кем был близок сердцем и един в стремлениях. Касаткин и Переплетчиков, Коровин и Хруслов, Виноградов и Светославский, Степанов и Аладжалов.

В письмах близких друзей — похвалы, упреки, изредка — острый укол ревности. В письмах — жизнь, которая окружала и питала талант.

Они полетели в огонь вместе с деловыми записками Третьякова и Остроухова, отзывами меценатов о картинах и вестями от родных, напоенными скорбью. Много из-за них было пережито, порой выстрадано, выпито унижения.

Все — в огонь, безжалостно, ни о чем не сожалея. Сердце скоро сдаст. Левитан больше не верит в то, что поднимется.

Когда от последней пачки осталась горсть тёмно-серого пепла, похожая на какую-то фантастическую фигуру, больной облегченно вздохнул.

Левитан оставил нам свое искусство — наследство художника, он уничтожил письма — наследство человека. Но в этой богато одаренной личности так тесно переплелся путь художника и человека, что картины Левитана позволят нам дополнить кропотливый труд исследователей и проникнуть в его жизнь.

После смерти Левитана в его столе нашли завещательную записку: «Письма все сжечь, не читая по моей смерти. *Левитан*».

Считалось, что родные исполнили это завещание и уничтожили все эпистолярное наследие художника.

Но недавно в архиве М. П. Чеховой было обнаружено письмо Адольфа Левитана, резкое, даже грубоватое. Предпринимая первое полное издание писем А. П. Чехова, его сестра собирала их у всех друзей, знакомых писателя. Обратилась она с подобной просьбой и к брату художника. Получила такой ответ:

«Посылаю Вам строчки моего брата, посылаю не для того, чтобы реабилитировать себя в чьих-либо глазах: я в этом не нуждаюсь, а только для того, чтобы это решение брата было известно всем. Пусть ничего не ждут. Судачить по поводу уничтоженной переписки не придется ни устно, ни печатно. Увы и ах! Написаны эти строчки братом на случай внезапной кончины и найдены мною в письменном столе уже после его смерти. Сожжены письма, как я уже и раньше передавал Вам, мною еще при жизни



его по его приказу и на его глазах.

Сделано это мною охотно, так как я мысленно вполне одобрил его решение и сам бы поступил так же, даже и теперь».

Обычное, чем кончаются официальные письма, «примите уверение» и т. д., не могло смягчить раздраженности, сквозящей в каждом слове, обращенном к лучшему другу Левитана и сестре великого писателя.

Адольф Левитан в свое время ничего не рассказал биографам о жизни брата. Он молчал, упорно, хладнокровно и стойко. На все обращения к нему отвечал отказом.

Старший брат на тридцать три года пережил младшего и провел последние годы в Ялте. Неясная надежда на то, что в старости он изменил своей замкнутости и оставил какие-то воспоминания о Левитане, вовлекли меня в Ялту.

Но прошло свыше двадцати пяти лет со дня смерти Адольфа Левитана. Большие события видела маленькая Ялта в эти годы. Долгие месяцы там хозяйничали немцы; и казалось, трудно найти след художника, доживавшего свой одинокий век.

Многие местные жители помнили высокого человека с черной бородой, одетого в темное пальто, клетчатый шарф и старую фетровую шляпу. Его часто видели на улицах Ялты. Странную приметность придавала ему и черная маленькая собачка, которую он всегда вел на длинном поводке. Знали, что этот высокий человек с глубокой проседью в волосах, одинокий и замкнутый, — брат великого художника.

Он давал уроки рисования детям, получал маленькую пенсию и все дни проводил в ялтинской библиотеке, где у него даже было свое постоянное место. Там привыкли к его молчаливости, замкнутости, отстраненности.

Нет, он не написал никаких воспоминаний о брате, ничего о нем не рассказывал, даже уничтожил его документы. Он не нарушил молчания.

Так рухнула моя слабая надежда дополнить живыми воспоминаниями биографию Левитана.

Тереза — старшая сестра художника — была откровеннее, рассказала исследователям о детстве и юности младшего брата.

Но долгие годы не была точно установлена даже дата рождения Левитана. Под его картинами во всех музеях стоял 1861 год, ошибочно названный одним из биографов.

Недавно нам удалось найти в материалах Училища живописи, ваяния и зодчества воинский документ, по которому с точностью метрики можно установить, когда в семье Левитанов появился младший сын.

Итак, Исаак Ильич Левитан родился 18(30) августа 1860 года в посаде Кибарты, близ станции Вержболово Ковенской губернии.

## ОЧАГ

Самым ранним впечатлением были поезда, снующие круглые сутки мимо маленькой пограничной станции. Поезда и отец в форме станционного служащего, свистки паровозов и лязг тормозов.

Было также острое чувство постоянной неустроенности. Казалось, что семья Левитанов всегда в пути. То начинались лихорадочные сборы, приготовления к отъезду, то судорожное устройство на новом месте. Жизнь неуверенная, бивачная.

Отец Левитана был человеком беспокойным, нетерпеливым. Свою короткую жизнь он провел в поисках лучшего. А шел все время от жизни безбедной к самой непроходимой нищете.

Переводчик во французской фирме, строившей мост через реку Неман. Перемена службы. Дети видят отца уже в окошечке билетной кассы станции Ковно. Но не пройдет и нескольких месяцев, как адрес изменен: семья перекочевала в посад Кибарты возле пограничной станции Вержболово.

Отец мечется. Дети подрастают, способные, смысленные. Им мало уроков отца, пришедшего усталым со службы. Они уже не довольствуются занятиями с матерью, для которой книги заслонили весь мир. Она могла подать на стол остывший суп, но зато с жаром рассказывала детям о недавно прочитанной книге и жизни вымышленных героев. Нужны школы, культура большого города. И семья Левитанов потянулась в Москву.

Большой, незнакомый город, никакой поддержки. Надежда только на себя на опыт и знания учителя иностранных языков. Уроки в богатых домах. Уроки и в стужу и в непогоду детям банкиров и лавочников, в хоромах и скромных жилищах. Целые дни, от раннего утра до позднего вечера, за гроши.

Тесная квартирка на Солянке в огромном доме, принадлежавшем Зиновьеву. Скучный обед. Мечты о Москве, ее больших благах и радужных планах рассыпались в первый же год.

Семья Левитанов жила все беднее. Но дети учились, и к вечеру все собирались вместе. Был уют домашнего, пусть скромного очага, участие матери и великая заинтересованность отца в успехах детей. Несколько лет девятилетний Левитан, ставший коренным москвичом, прожил довольно

спокойно.

Отец зарабатывал мало денег. Но разве это единственная семья, которая вела счет на копейки? Отец приходил усталый. Но разве не минет усталость, когда он увидит дочерей Терезу и Эмму склоненными над книгами, Адольфа готовящим заданную композицию, и младшего Исаака — охотно читающим французский учебник?

И растворяется горечь унижения, появляется отрадная мысль: труд не напрасен, дети на верном пути.

Когда по утрам все уходило и дома оставалась только мать, младший Левитан забирался на подоконник и смотрел в окно. Ему были видны только крыши домов.

Он сидел тихо. Мать читала, довольная тем, что сын не отрывает ее от книги. А мальчику не надоедало часами разглядывать один и тот же вид из окна четвертого этажа, ждать, когда в зимний день рано погаснет голубизна заснеженных крыш и они осветятся мерцающими вечерними огнями. Тогда очертания города с большой высоты станут призрачными, таинственными.

Если кто-нибудь спрашивал, что интересного находит он, глядя в одно и то же окно, Левитан отвечал задумчиво:

— Погодите, увидите, что я из всего этого сделаю...

Когда мальчику минуло тринадцать лет, он попросил отдать его в то же Училище, где занимался Адольф, еще детским почерком написал заявление, сдал испытания и был принят.

С той поры в Училище появились два Левитана старший и младший; их так и звали, хотя разница в возрасте между ними была меньше года.

Левитан-младший, совсем еще мальчишка, занял в классе место рядом с бородачами, которым довелось поздно приняться за изучение искусства. Вместе с великовозрастными сотоварищами Левитан заходил в облюбованный ими трактир на Мясницкой, пил чай с белыми калачами, слушал нескончаемые споры о том, что есть истинное искусство и куда следует русскому художнику приложить свой талант. Он не вмешивался в разговоры, но его горящие глаза не отрывались от спорщиков.

Братья, оба высокие, стройные, смуглолицые, возвращались домой веселые, полные впечатлений и наперебой рассказывали о том, что нового принес им ученический день. Все чаще Левитана-младшего хвалили за рисунки и живопись. Однажды он и вовсе растворил материнское сердце, когда показал ящик с красками и две дюжины кистей. Тогда-то в истории Училища появилось имя Левитана-младшего, награжденного за первые номера по художественным занятиям».

И, может быть, впервые Левитан-старший испытал укол в сердце,

мучительный укол ревности, когда увидел увлажненные слезами глаза матери и просветленное лицо отца.

Но недолго любимцу довелось радовать сердце матери своими успехами. Ее слабый организм не вынес испытаний нужды, и она внезапно сошла в могилу.

Юного Левитана первое горе ошеломило. Отец, сам потрясенный ранней смертью жены, с большой тревогой присматривался к застывшей печали младшего сына.

Прошло уже много дней после похорон, а задумчивость не исчезала, юношу часто душили слезы, и он мог даже в классе подолгу сидеть, устремив взгляд в одну точку.

В 1885 году, со смертью матери, для семьи Левитанов началась пора тяжких испытаний.

Долгая болезнь подтачивала отца. Он не мог поддаваться недугу. Один день слабости, несколько пропущенных уроков — и нечего подать к обеду.

Он шел на урок, когда ноги подгибались, а голова туманилась. Он шел и обучал детей французскому языку, лишь бы его собственным детям не угрожал голод.

Случилось большое несчастье: эпидемия брюшного тифа свалила отца и Исаака. Их увезли в разные больницы. Когда юноша, исхудалый и ослабевший, вошел в тесную квартирку, его ждала страшная весть: отец не перенес болезни и умер.

Прошло только около двух лет после смерти матери. Какое сердце может справиться с такими тяжкими ударами? И все чаще Левитана посещают приступы неясной тоски, отчаяния. Тогда он бежит от людей, ему надо быть одному, чтобы выплакать горе и найти силы для жизни.

Семья осталась без главы, добытчика, без всяких средств.

Старшая сестра Тереза уже вышла замуж, муж ее, коммерсант-неудачник, очень бедствовал. Появились дети, а с ними еще большая нужда.

Кто-то узнал о несчастье в семье и пришел на помощь. Посланец принес конверт с деньгами. Давно уже на стол не подавался горячий суп, и деньги были бы очень кстати. Но Левитан с гордостью, вскормленной нищетой, отверг помощь неизвестных благодетелей. Он сказал:

— Я сам буду работать.

Семья Левитанов распалась. Была бедность, но был очаг, кров. Теперь еще большая бедность, но нет очага, крова — и впереди годы нищеты.

Левитан ушел из дому, он не мог больше оставаться у сестры, когда ее маленькому ребенку не всегда хватало молока. И хотя Тереза поделилась

бы последним ломтем хлеба с младшим братом, он боялся быть кому-то в тягость.

Куда он ушел, где нашел приют? Никуда. Адреса у него не было, он скитался.

И в такие ночи, когда бредешь по улицам большого города мимо домов с освещенными окнами и нигде тебе нет приюта, в такие ночи ожесточается сердце и понимаешь цену человеческому участию. Во всем большом городе, где так много теплых квартир, не находилось места этому бедному парню.

В тяжкий день, когда казалось, что нет сил сопротивляться несчастьям, Левитан услышал потрясшую его историю. В курилке Училища шепотом, как крамолу, один ученик рассказал об интересном эпизоде из биографии Бетховена.

К композитору пришел молодой музыкант и показал свое сочинение. На обложке нотной тетради он написал: «Кончил с божьей помощью». Бетховен взял карандаш и тут же начертил: «Человек, помогай себе сам».

Слова эти осветили Левитану его собственную жизнь. Он знал участие друзей, родственников. Но кто из них поможет выйти на дорогу? Только он сам, его воля. И юноша вступил в борьбу с ударами судьбы, помня о словах великого человека.

## **ЖЕСТОКАЯ ЮНОСТЬ**

Однажды в класс вошел инспектор и громко объявил, что ученик Левитан должен покинуть занятия. Он не внес плату за учение, и его исключали из Училища.

Высокий юноша поднялся. Его обычно бледное лицо пылало. Он лихорадочно собирал краски, кисти, спешил уйти от вопрошающих и участливых глаз товарищей. Дверь за ним захлопнулась.

Внезапно все поняли, что произошло, и так же внезапно пришли к единому решению: помочь. Все зашумело, заволновалось, гул стоял в классе. Деньги собрали: каждый давал сколько мог. К концу урока в канцелярии внесли нужную сумму и поспешили обрадовать товарища, что он может вновь приступить к занятиям.

На другой день Левитан произносил слова благодарности, они застревали в горле, он захлебывался от слез. Мысль билась вокруг одного и того же: «Как быть, если откроется дверь и ему снова предложат покинуть класс?» Ведь нельзя же надеяться на то, что опять помогут товарищи. Его

заступником могут стать только отличные учебные успехи. Самопожертвование, собранная воля удержат его в стенах Училища.

Началась битва за себя. Надо отдать должное выдержке Левитана; он сумел доказать свое право на образование.

Задан эскиз композиции. Прежде можно бы остановиться на первой мысли. Но угроза остаться за бортом Училища всегда маячила перед Левитаном. Он не щадил себя, принимал и отвергал десятки вариантов, прежде чем сдавал работу учителю.

На уроках Левитан блистал знанием литературы. Вот когда дали плоды семена, посеянные матерью. Она разбудила в нем почтение к книгам, раскрыла перед ним колдовскую силу поэзии.

Истории искусства Левитан предавался беззаветно. Часы углубленного чтения в библиотеке. Ни одного пропущенного слова на лекции. Прекрасно сдан экзамен.

Вот когда можно почти согласиться с тем, что любили повторять многие преподаватели: «Ученики — это щенки, брошенные в воду. Только сильные выплывают».

Левитан по праву причислял себя к сильным, когда его на три года освободили от платы за учение. Это решил совет преподавателей, которых покорили беспримерное усердие и крепнувший талант этого паренька.

Левитан предавался искусству со всем самозабвением юности, но жизнь вторгалась в его мечты, суровая, неумолимая. Страсть к живописи столкнулась с голодом.

Звонок. Окончены утренние уроки, и все ученики бегут к раздевалке, где пристроился Моисеич со своим маленьким буфетом. Руки с протянутыми копейками, белые ситнички, жареная колбаса, сосиски, теплое молоко. Сколько соблазна!.. Если бы можно было тоже протянуть руку с медяком и громко сказать со всеми:

— Моисеич, мне до пяточка.

Но Левитан и так задолжал буфетчику. Иногда он побеждал самолюбие и, краснея до ушей, просил у совсем незнакомого ученика копеек двадцать в долг. После одного такого обращения они подружились с учеником Пичугиным, который оказался очень отзывчивым и не раз устраивал в классе складчину. Потом гурьбой отправлялись в трактир «Саратов» на углу Сретенского бульвара. Приглашали обоих Левитанов и кормили их вкусным обедом.

Приятное ощущение сытости снимало обиды, возвращало веселость. А потом шли домой к Пичугину буйной компанией. На столе появлялся самовар, пили чай с неизменными калачами. Костя Коровин брал в руки

гитару, пели хором, и среди молодых голосов различался сочный, музыкальный баритон Левитана.

Конечно, спорили и судачили о своих студенческих делах и в беззаботной резвости играли в чехарду, зацеплялись за стулья, хохотали.

Молодость остается молодостью, и иногда они озоровали, как озоруют все парни на свете.

Подружился Левитан со способным учеником Светославским. Часто с ним и с другими товарищами ходили гулять. Забрели как-то на кладбище, вышли на железную дорогу. Юноши так разрезвились, что стали бороться прямо на рельсах, не замечая надвигающегося поезда. Тормоза, задержка состава. Всех пригласили в участок, хотя остальные были только свидетелями драки. Всех оштрафовали по рублю.

У Левитана денег не оказалось. И с той поры товарищи добродушно шутили:

— Левитан, околоточный пришел за рублем.

Юноша бросал этюд и в панике убегал из класса. Он привык терпеть насмешки и не очень сердился на товарищей, которые были к нему участливы и в настоящей беде приходили на помощь.

Деньги добывались разными путями. Всем нравились этюды Левитана. Он отдавал их со щедростью юности за любую плату, даже по рублю за набросок, лишь бы рассчитаться с Моисеичем и вернуть долги друзьям. Особенно ценил работы Левитана Василий Часовников, его приятель по Училищу. Он был юношей болезненно восприимчивым, впечатлительным, преданным природе и искусству, преклонялся перед другом и бережно хранил каждый подаренный набросок. Один рисунок даже зашил в ладанку и носил ее на груди в знак преданности таланту Левитана.

У Часовникова чаще водились деньжата, и он старался незаметно помочь Левитану: то купит ему несколько тюбиков красок, то альбом для набросков, а то сунет в карман кусок хлеба, когда заметит, что товарищ проголодался. Делал все это Часовников невзначай, но так, что и отказаться нельзя и самолюбие остается спокойным.

Левитан искал заработка и не отказывался ни от каких заказов. Попросят сделать рисунок с надгробья, он идет на кладбище, рисует. Исполняет заказ со всем старанием и умением, на какое способен. Заказчику нравится. Другие обращаются с такой же просьбой. Но на плату не щедры. Все эти труды оплачивались мизерно.

Писал он и копии с картин в галерее Третьяковых, писал портреты, в которых был не очень силен. Иногда друзья вместе сочиняли картины на



продажу. Левитан зашел как-то к Пичугину и застал его у мольберта, пишущим пейзаж с фигурами. Вместе работа пошла успешнее. Торговец на Сухаревке расщедрился и дал юношам за их произведение пятнадцать рублей. Они счастливы: сколько впереди сытых дней!

Бездомность угнетала Левитана не меньше голода. Вечер был самой грустной порой. Ученики весело собираются домой. Их там ждут ласка матери, уютный обеденный стол, чистая постель. А ему некуда идти, его никто не ждет.

В последний раз хлопнула дверь. Училище обходит ночной сторож солдат Землянкин, почему-то заслуживший страшное прозвище «Нечистая сила». Погашены огни, дом опустел.

Левитан осторожно пробирается на верхний этаж и устраивается спать в гряде пыльных холстов или в грязных лохмотьях реквизита мастерских. Здесь нет ветра, тепло. Это ничего, что пыль забивается в ноздри, что нестерпимо хочется есть и горько быть одному весь долгий вечер в темном опустевшем классе.

В эти часы одиночества Левитан возненавидел свою юность, вечный страх: перед инспектором, перед околоточным, даже перед ночным сторожем Училища. С ним встречаться опасно: может в сердцах и выдворить на мороз.

Порой на Землянкина находили добрые минуты, он не выгонял бесприютного юношу, а даже оставлял его ночевать у себя в сторожке. Тогда он и чайку с ним напьется и выпится под теплым овчинным тулупом.

Но это бывало редко. Чаще — одно неосторожное движение, падает задетый в темноте подрамник, и шум гулко разлетается по пустым коридорам. Тогда трудно спрятаться от Нечистой силы. Найдет, отругает, прогонит.

Утром измятый и запыленный Левитан приходил в класс. С какой завистью смотрел он на розовые с мороза, свежие лица товарищей!

Но плохое забывалось быстро. В веселом шуме учебного дня исчезал едкий привкус пыли. Юноша снова был среди друзей, возле своего мольберта и ящика с красками. Он снова жил самым дорогим — познанием.

Каждый день приносил новое. Сколько раз проходил он спокойно мимо статуи Венеры Милосской, и вот только сегодня проник в тайну ее величавой пластики.

Он совершал открытия и перед своим этюдом, удивляясь и радуясь новому созвучию красок, новому неожиданному мазку.

Хотелось видеть, слышать, узнавать, вбирать в себя все то, что могли дать профессора и мастера кисти минувшего. Он учился.

## УРОКИ МУДРЕЦА

Саврасов часто заходил во время занятий в класс Перова. Они дружили. Ученики привыкли к тому, что огромный, неуклюжий человек с взлохмаченной гривой волос и темной окладистой бородой проходил по рядам и внимательно рассматривал классные работы.

Всегда даже опытный живописец волнуется, если чувствует за спиной зрителя. Что же испытывает юноша, когда возле него стоит художник, имя которого он произносит с благоговением?

Возле Левитана остановился Саврасов. Он стоял долго, смотрел на холст молча, пристально. Юношу била дрожь, у него стучали зубы. Лучше уж не писать, только испортишь начатое.

В короткие мгновения, пока Саврасов стоял возле Левитана, решилась его участь. Уж не первый раз приглядывался маститый художник к работе этого порывистого ученика. Он выбрал его из всего класса для своей мастерской и получил согласие Перова.

Левитана не надо спрашивать, хочет ли он стать учеником Саврасова, — это давняя мечта.

Перов, в натурном классе которого учился Левитан, был душой всего Училища. Его яркое дарование и демократические убеждения отвечали горячим порывам молодежи. Он — ее знамя, ее маяк.

Каждая новая картина профессора удивляла смелостью обличения, правдой, не только наблюденной, но и выстраданной.

Перов посеял в душе Левитана благородные чувства, научил его смотреть на мир без прикрас. Он открыл ему, что в страданиях его юности повинен уклад российской жизни, научил любить обездоленных и служить своим искусством тем, кому живется трудно. В неприметной, серой жизни бедняка показал красоту чувств. Не его ли пламенная проповедь развила у Левитана острое умение видеть прекрасное в будничной и скромной природе Руси?

Природу Левитан любил восторженно. Только она давала душевное спокойствие, и только она не замечала его нищеты: для нее все были равны.

Любовь к природе не пришла неожиданно, он узнал ее ребенком. Но только в Училище у Левитана появилось стремление научиться выражать в картинах свои чувства, пробужденные близостью к природе.

Поэтому-то таким большим событием был переход в мастерскую Саврасова. Рассказы о том, как преподает этот странный человек, сам влюбленный в природу, обволакивали мастерскую особой привлекательностью. Говорили, что там ученики пишут картины, чего у других профессоров еще не делали. Ждали ученических выставок, чтобы увидеть созданное пейзажистами.

За два года до того, как Левитан поступил в Училище, Саврасов написал картину «Грачи прилетели», о которой удивительно верно сказал Крамской: «Пейзаж Саврасова «Грачи прилетели» есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя тут же и Боголюбов, и барон Клодт, и И. И. Шишкин. Но все это деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в «Грачах».

В год, когда тринадцатилетний мальчик подал заявление о приеме в Училище, его будущий учитель создал одну из своих самых эмоциональных картин: он написал «Проселок». Надо было очень любить родную природу, чтобы так опозитизировать унылый осенний пейзаж, заброшенную полевою дорогу.

Эта картина и многие другие, созданные учителем, волновали Левитана в дни его ученичества и в зрелые годы.

Он чувствовал себя близким Саврасову и только не достиг еще той степени мастерства, которая позволила бы ему выразить эту близость на холстах.

Левитан попал в новый для него мир. Алексей Кондратьевич был одним из тех художников, которые не таили найденного, открытого ими в итоге долгих творческих поисков. Он щедро и беззаветно отдавал себя другим, особенно если чувствовал рядом чистую душу, преданную искусству.

Он любил учеников отечески и талант приветствовал с открытым сердцем. Зато и ученики платили ему такой же искренностью.

На уроках по рисунку у строгого Евграфа Сорокина они трепетали от страха услышать короткое, ироническое «грех один». В мастерской Перова часы проходили навтытяжку, профессор бывал остроумен и насмешлив. Прянишников тоже частенько произносил свое любимое словечко «антимония», что в переводе означало небрежность рисунка или плохо угаданный цвет.

И только в саврасовской мастерской молодые вместе со старшим наставником были участниками одного большого содружества. Все служили искусству истово и преданно.

Саврасов на уроках был не только педагогом, но и живописцем. Он так

определил свой метод: «Работая сам при учениках, я могу постоянно следить за их работами и в то же время даю им возможность видеть ход моих собственных работ».

Отсюда и та непринужденность, которая царила в классе. Профессора уважают, слово его — откровение. Но он не на недосыгаемом пьедестале, а рядом, всегда готовый помочь.

Саврасова считали чудачком, он жил особой жизнью, понятной, пожалуй, одному Перову. Часто мог ответить невпопад, занятый своими далекими для всех мыслями.

Константин Коровин оставил короткие, но очень душевные записи о любимом учителе. Он вместе с другими учениками не замечал чудачеств этого одаренного человека и слушал каждое его слово как напутствие мудреца. Коровин писал:

«Часто я его видел в канцелярии, где собирались все преподаватели. Сидит Алексей Кондратьевич, такой большой, похож на доброго доктора — такие бывают. Сидит, сложив как-то робко, неуклюже свои огромные руки, и молчит, а если и скажет что-то, — все как-то про не то — то про фиалки, которые уже распустились; вот уже голуби из Москвы в Сокольники летают».

Педагоги, пришедшие в перемену, посмотрят на собрата недоуменно и займутся своими делами. А Саврасов пойдёт в мастерскую, и там ему не надо ничего объяснять: молодые пейзажисты понимают с полуслова.

Расцвели фиалки — это значит: вон из мастерской с пропыленными за зиму окнами, туда, где «даль уже синее, на дубах кора высохла». Не терпится им скорее на воздух, в рощи, луга, на этюды.

Коротка пора ранней весны, и трудно понять очарование ее мягких тонов. Но рядом учитель, он поможет, поймет сомнение, научит чувствовать природу, слушать чирикание воробьев, замечать, как оседает ноздреватый серый снег. Он будит чувства, а тогда уже наступит и второй этап в жизни художника: изображать то, что почувствовал.

С юности Левитан особенно остро воспринимал пробуждение природы. Весна для него — прилив сил, неясная маята, когда особенно сильно тянет за город. Он пропадал в Сокольниках, пропуская занятия. Саврасов не журил его за это. Он даже как-то торжественно спрашивал:

— Левитана опять нет? — И сам себе отвечал: — Это ничего, что не ходит, он там думает...

С большим интересом Саврасов ждал, когда этот парень вернется перепачканный в красках и грязи, раскроет свой ящик и покажет свежий этюд. Он уже умел чувствовать природу.

Первой же зимой Саврасов разрешил Левитану писать картины. Это было именно то, о чем так долго мечталось. А в Училище передавали из класса в класс: «В саврасовской мастерской пишут картины и готовят их к выставке».

13 марта 1877 года в Москве открылась V Передвижная выставка, а рядом с ней — Ученическая. Зрителей было много, они шли непрерывным потоком, привлеченные слухами о необычайных световых эффектах в картине Куинджи «Украинская ночь».

Успех этой картины был исключительный. Она вызвала бурные споры, а среди художников многих подражателей, которым так и не удалось разгадать секрет магического лунного освещения.

Пейзажи Шишкина, Саврасова. И неподалеку от этих залов, где шумела завороченная публика, развешаны работы учеников.

Левитан вместе со всеми бродит по выставке, прислушивается к тому, что торится возле лунной феерии Куинджи, возвращается в зал, где на стене висят в рамках две его маленькие картинки — два первенца, отданные на суд зрителя.

Первая в жизни выставка. Автору идет семнадцатый год, и он старается не показывать виду, что имеет какое-то отношение к пейзажу, названному «Вечер».

Но мрачные облака, повисшие в сумеречном небе, живо перенесли Левитана в тот осенний вечер, когда писался этюд, напомнили все дни в мастерской, что он отдал этому холстику. Волнения, тревоги и, наконец, облегченный вздох, когда Саврасов отобрал картинку для выставки. Она еще темновата по краскам, но в ней уже так много чувства художника, который в каждой жерди забора и унылой сгорбленности изб нашел отзвуки человеческого горя.

Другая картинка веселая: «Солнечный день. Весна».

В газете «Русские ведомости» обычно давался обзор передвижных выставок. И в статье Н. Александрова, где говорилось о необычайном успехе Куинджи, о картинах корифеев пейзажа Шишкина и Саврасова, выделены работы только двух учеников: один из них — Левитан, который читал эти ласковые строки, не веря своим глазам. Странное неповторимое чувство, когда впервые в жизни видишь напечатанной свою фамилию и впервые читаешь, что тебя называют «господин».

Он мог бы произнести наизусть такие слова: «Пейзажист г. Левитан выставил две вещи: одну — «Осень» и другую — «Заросший дворик» с березками и какими-то деревянными строениями, освещенными ярким солнышком, пробивающимся сквозь березовую листву. Солнечный свет,

деревья, зелень — строения, все это написано просто мастерски, во всем проглядывает чувство художника, его бесспорно жизненное впечатление от природы; судя по этим двум картинам, нет сомнения, что задатки г. Левитана весьма недюжинного характера».

Усилиями Перова и Саврасова каждый год на святках стали устраиваться ученические выставки, и скромные холстики молодого Левитана всегда на них были приметными.

## ***ЕЩЕ ОДНО ИСПЫТАНИЕ***

Казалось, жизнь уже вышвырнула на Левитана весь запас горя и страданий. Их с лихвой хватило бы на нескольких человек. Но легче не становилось. Облака над его головой лишь сгущались.

В 1879 году, после покушения Соловьева на Александра II, в Москве запретили жить евреям. Подвергся этой каре и Левитан. Отныне он изгнанник. Ему пришлось уехать в подмосковную деревню Салтыковку, где поселились также сестра и брат.

Все они бедствовали. Адольф уже печатал в журналах жанровые зарисовки, иллюстрации. Но этот труд оплачивался мизерно.

Теперь братья ездили в Училище поездом; на это тоже нужны были средства.

Левитан был даже доволен, когда занятия кончились и можно хотя бы не срамиться перед людьми в изодранном клетчатом пиджачке, ветхих штанах и совсем изношенных ботинках на босу ногу. В этом виде Левитан стеснялся показываться даже на улочках дачного поселка. Он прятался в рощах или писал этюды с лодки на озере.

Кругом кипела веселая, шумная жизнь дачного Подмосковья. Здесь снимали дачи семьи состоятельных московских чиновников. Они вывозили отдыхать своих дочерей и сынов, которым не понять, почему таким дикарем держится этот юноша с задумчивыми глазами.

Он проскальзывал мимо гуляющих компаний с ящиком красок, стараясь поскорее скрыть лохмотья под сенью деревьев.

Левитан остро переживал свое изгнание. Порой ему казалось, что любой встречный может показать на него пальцем и сказать: «Его выгнали из Москвы».

Один раз Левитан уехал в лодке на озеро и там раскрыл ящик с красками. Он был так увлечен этюдом, что не заметил, как в лодку набралась вода, как она залила его ботинки. Только окончив работу, он

почувствовал какую-то неловкость в ногах и понял, что безвозвратно погубил последние штиблеты. Наутро они так ссохлись, что на ноги не полезли. Пришлось их обрезать. Получились странной формы опорки, которые придавали еще более несчастный вид высокому юноше.

Тем летом Адольф Левитан написал портрет брата. Он изобразил его в клетчатом пиджачке, в красной рубашке с белыми полосками, с лицом по-детски округлым, с ясными глазами. Милый, чистый облик юноши, мечтательно смотрящего на мир.

Вечерами дачники прогуливались по платформе. Левитан не рисковал показываться в этой нарядной толпе. Только в дождливые дни, когда дачный поселок пустел, юноша мог свободно выйти, встретить и проводить поезд, идущий из Москвы, помечтать.

В эти вечера возник замысел картины. Она захватила так неожиданно, что Левитан теперь радовался дождливым дням.

Он приходил на платформу когда смеркалось, и писал там этюды. Даже сильный дождь не мог оторвать его от этого занятия. Прятался где-нибудь под крышей, но переносил на холст причудливую форму растекающихся луж, влажную поверхность досок, дождевые струи.

В картине был изображен момент, когда к платформе подходит поезд и снопы яркого света выхватывают из сумеречной полутьмы мокрые доски, темный блеск уходящих рельсов. Ярко и задорно отражаются в лужах огни от паровоза и станционных фонарей.

Увлеченный работой, юноша забывал о нищете. Унылые мысли отступали перед сознанием силы. Да, он верил в свой талант, в то, что ему предстоит стать большим художником.

Так будет, а пока картина понравилась родным. Близился конец лета, и Левитан собирался показать свой труд товарищам.

Но нужда не ждала, она так истомила, что картину решили продать. Как поехать в Москву? Нельзя ведь показаться ни в одном приличном магазине в таком оборванном виде.

Муж сестры добыл где-то в кредит для Левитана довольно добротную одежду, и тот чувствовал себя обновленным человеком, когда надел темный сюртучок и выпустил белый воротник сорочки. Этот белый отворот так шел к его смуглому лицу, темным волосам, высокой тонкой шее. Появились и настоящие ботинки.

Как будто с новой сорочкой началась и новая жизнь. Теперь он даже почувствовал в себе какую-то смелость.

Левитан повез картину в Москву. Он вошел в магазин антиквара Родионова на Покровке с бьющимся сердцем. Предложил купить картину,



развернул и поставил поодаль. Самому в этот момент она показалась жалкой. Куда девалась уверенность, с которой он смотрел на свое произведение под усыпляющим хором родственных похвал.

Родионов не отверг картину, внимательно к ней присмотрелся и заплатил сорок рублей.

Для Левитана это была огромная сумма. Прежде всего расплатиться за костюм, поделиться с Терезой и найти угол: снята меблированная комната в доме Беляева на Лубянке. Удостоверение из Училища помогло Левитану получить разрешение жить в Москве.

Какой это был праздник! Кровля над головой, можно хоть ненадолго позабыть о бесприютности.

В октябре совет преподавателей Училища зачислил Левитана на стипендию имени князя В. А. Долгорукова. Забот о зароботке она не снимала. Но это не было чьей-либо милостью, а победой самого юного художника, добытой его волей, исключительным упорством в труде.

### ***ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ!***

Третьяков любил заглядывать в будущее. На выставках он смотрел не только картины известных мастеров, но с особенным удовольствием угадывал талант в каком-нибудь темном, скромном этюде, повешенном под самым потолком.

Левитана собиратель заметил с первых ученических выставок. Картины запомнил, но с автором знакомство отложил. А Крамскому написал, что среди пейзажистов Московского училища ему представляется талантливым ученик Левитан.

Осенний пейзаж, показанный им на второй Ученической выставке, привлек внимание Третьякова. Он остановился возле небольшой картины, и бесконечная аллея как бы втянула его в осенний парк с пожелтевшими листьями кленов. Печаль пасмурного дня дополнялась фигурой грустной женщины, тихо идущей на зрителя.

Безмолвие парка, одиночество человека...

Третьяков стоял уже довольно долго возле картины, и товарищи поспешили оповестить об этом Левитана. А когда владелец прославленной галереи попросил представить ему юного художника, Левитан застенчиво протянул руку.

Все совершилось очень быстро. Третьяков попросил уступить картину «Осенний день. Сокольники». Левитан словно в тумане бормотал о своем

согласии, не понимая, какую цену назначил покупатель, поглощенный одной только мыслью, что его картина будет в галерее Третьякова.

И было от чего закружиться голове. Это случается не так часто: в девятнадцать лет попасть в галерею, написать пейзаж, которому найдется место в музее.

Обнимала его и плакала от радости Тереза, наперебой жали руки друзья. Левитан сам стиснул в объятиях своего друга Николая Чехова, который вписал в его пустынную аллею фигуру женщины.

Все были счастливы, улыбались, радовались тому, что этот талантливый юноша, наконец, испытал светлое мгновение, получил справедливую награду за редкий живописный дар и столь же редкую способность трудиться.

Сто рублей, полученные от Третьякова, казались огромным сокровищем, но скоро их поглотила нужда, и пришлось вновь думать о зарботке.

Молодого живописца узнали в художественных кругах. Это помогло Левитану получить первый урок рисования в семье Яковлевых, любящих искусство, собирающих картины.

Он пришел, стараясь сохранять солидность, но юность проглядывала в его застенчивости, в откровенной неопытности.

По просьбе родителей Левитан рисовал портреты ученицы и ее сестры. Вместе с отцом Лены он побывал в их имении зимой, катался там на лыжах по заснеженному берегу Днепра и делал наброски пейзажей, окутанных зимними одеждами.

Однажды маленькая Лена вместе с отцом пришел к своему учителю домой. Запомнилась низкая, тесная комната, из окна которой открывался вид на крышу и небо. Это была постоянная натура, безотказно позировавшая художнику. Может быть, именно эти вынужденные штудии сделали Левитана таким несравненным истолкователем неба. Девочка увидела, какой труд отдавал ее учитель множеству этюдов. Он писал веселые облака и грозовые тучи, легкую белую россыпь и предзакатную воспаленность неба. Набросков много, они в беспорядке лежали на полу.

Ученица разглядывала их с любопытством. Это был, пожалуй, самый полезный урок из всех, какие ей посчастливилось получить.

В Училище имя Левитана младшего становилось все приметнее. Он получил за пейзаж Малую серебряную медаль, а весной 1880 года ему даже выдали деньги для поездки на Волгу.

Как он к этому стремился, как суетливо собирался: этюдник наполнялся красками, грунтовались холсты. готовились подрамники.

Но тут новое несчастье: тяжело заболела Тереза. Подозревали чахотку. Со всей отзывчивостью своего доброго сердца Левитан забыл о себе, о долгожданной поездке на Волгу. Ничто больше не существовало для него, кроме тревоги за сестру.

В ее семье — ни рубля. И Левитан тратит деньги, выданные Училищем для поездки, на лечение Терезы. Он снимает дачу в Останкино, перевозит туда сестру. Никто не мог бы более заботливо ухаживать за больной. И он вырвал ее у болезни. Тереза стала поправляться, а художник, не теряя времени, писал пейзажи Подмосковья.

Три лета подряд Левитан провел в этой дачной местности. Друзья даже в шутку прозвали это время его Останкинским периодом.

## **ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ**

Большим событием 1882 года была Всероссийская промышленно-художественная выставка. В начале лета Ходынское поле в Москве прекратилось в выставочный городок с разноцветными павильонами, увенчанными то веселыми петушками, то сердитыми золотыми орлами.

Молодых художников, конечно, больше всего привлекал к себе художественный отдел выставки, где были собраны лучшие образцы русского искусства за те последние двадцать пять лет: от «Явления Христа на роду» Александра Иванова до «Утра стрелецкой казни» Сурикова.

Но поразительнее всего на выставке были зрители. Сотнями и тысячами тянулись сюда люди «простого звания», и это восхитило пламенного Стасова. «На выставку, — писал он в «Голосе», — нынче ходит сам народ — мужики, бабы, солдаты, фабричные — массами». «Кто бы это подумал несколько месяцев назад: на московской выставке, в воскресенье или праздник, встретишь множество — знаете даже кого? — лапотников, которые приплелись из каких-то подмосковных мест и не побоялись заплатить пятиалтынный, чтобы побывать там, где быть им нынче нужно и интересно. Не историческое ли это событие у нас? И ведь говорят эти люди, смотрят, думают и понимать начинают. Это новая волна поднимается и идет».

В этой толпе ходил и Левитан, жадно слушая, какие картины люди громко хвалят, где весело смеются, что осуждают.

Проходя равнодушно мимо Христов и блудниц, Христов и грешниц, посетители вдруг останавливались и застывали. Перед их взорами бурлаки, напрягаясь, тянули лямку. У этой потрясающей душу картины Репина

«фабричные, солдаты и лапотники» долго стояли в молчании.

Французские крестьяне, видевшие картину Курбе «Каменотесы», хотели купить ее, чтобы поместить у алтаря в церкви. Репинские «Бурлаки» обычно висели в бильярдной великого князя Владимира. Вряд ли у русского «лапотника» возникала мысль найти «Бурлакам» место в церкви, но фотографии и репродукции этой картины они раскупали сотнями, чтобы, вернувшись с выставки, украсить ими свои жилища.

Теперь Левитана с новой силой тянула Волга, эта репинская Волга, опаленная знойным солнцем, которая несла со своими волнами кровь, пот и слезы русского труженика.

Но Волга пока оставалась недоступной. И Левитан бродил по выставке от «Черного моря» Айвазовского к лесам Шишкина, от «Заросшего пруда» Поленова к «Грачам» своего наставника Саврасова.

Почему эти две небольшие картины волнуют его больше, чем «Всемирный потоп» Айвазовского или «Рожь» Шишкина? Как среди этих морей и гор, лесов и болот, прудов и речек пробиться и проложить свою тропу?

Неожиданным открытием для Левитана явились этюды Александра Иванова, которые еще мало кому были известны. Тридцать три этюда и три эскиза к «Явлению Христа народу» были показаны на Всероссийской выставке, среди них несколько пейзажей, написанных в неожиданной, новой манере.

Чистые и смелые краски этих этюдов лишали покоя, все казалось кругом серым и неправдоподобным. Вот у кого на холсты вырвался прозрачный воздух и солнце! Левитан был ошеломлен. Он не мог вдоволь насмотреться на ивановскую «Ветку», которая звала его самого скорее к природе и краскам.

Отныне Иванов стал для Левитана путеводной звездой.

## ***НЕЛЕПЫЙ АТТЕСТАТ***

Хотя картина Левитана уже украшала стены музея, он все еще ходил на уроки, сдавал экзамены, писал композиции по программе.

Пять лет он занимался в мастерской Саврасова, который открыл ему самого себя, научил быть в дружеских отношениях с природой. А главное — научил самому трудному — умению вносить в пейзаж лирику, свои чувства и переживания.

Став таким близким и необходимым, Саврасов теперь с каждым днем

удалялся от него, все сильнее поддаваясь страшному недугу — запоям.

Неделями его не видели в мастерской. Когда же дверь отворялась и Саврасов входил мрачный, с оплывшим лицом, в потрепанной одежде, закутанный пледом, сердце Левитана сжималось от горя и бессилия.

Погибал могуче одаренный человек. Угар пьяных недель гасил его разум, иссушал талант. Что он, юнец, мог сделать, чем помочь? Разве только найти Саврасова в кабаке, проводить домой, слушая мудрые советы, прорывающиеся сквозь бессвязный лепет.

Он страдал за него, как можно только страдать за любимого человека. После смерти родителей потеря Саврасова была для Левитана самым тяжелым горем.

Теперь уже не оставалось сомнений: художник угасал. В редкие часы просветления он возвращался к творчеству. Но слабела былая сила, и скоро почти ничего не осталось в его чахлах картинах от прежнего огромного таланта.

Все ученики саврасовской мастерской приуныли. Весной пронесся слух, что Алексей Кондратьевич больше не останется преподавателем. А вскоре, в мае 1882 года, умер Перов.

Училище осиротело, оно лишилось своего вожака.

Среди учеников начался разброд. Кое-кто устремился в столичную Академию. Потянулся за ними и Левитан. Его донимали мысли о провалах в образовании, казалось слишком медленным продвижение по пути мастерства. Осенью он написал заявление о своем желании продолжать образование в Петербургской Академии.

А через месяц в Училище пришел Поленов — учить живописи молодых художников. Это был человек горячего сердца, высокой культуры и яркого дарования. К нему теперь устремились ученики, покинутые Саврасовым. Раздумал ехать в Питер и Левитан.

Около двух лет он брал уроки живописи у Поленова.

Саврасов учил понимать душу природы, вносить в самый незатейливый пейзаж свои чувства и мысли. Но палитра его сохраняла черты традиционности, оставалась коричневой.

Когда Левитан пришел в класс Поленова, ему раскрылся мир красок, многообразный, причудливый. словно шторы у него упали с глаз, и даже в будничной русской природе он увидел цвет многолико.

Теперь его учили думать о радости, какую приносят людям сама живопись, гармония красок, то неповторимое качество художника, которое поглощается всеобъемлющим словом «колорит».

Приближался срок окончания Училища. Нужен последний рывок —

картина, по которой судят о мастерстве ученика и выдают ему диплом.

И тут произошел случай, нелепее которого трудно найти в истории русского искусства.

Левитан писал дипломную картину по останкинским этюдам. Жатва увлекла его. Он задумал изобразить страду — огромное поле, заполненное копнами сжатой ржи. День хмурый, пасмурный.

В такую серьезную пору своей жизни Левитан остался без поддержки педагога. Зимой 1883 года Поленов уехал в Рим писать этюды к картине «Христос и грешница». Совета спросить не у кого. Саврасов бродяжничает, скитается по ночлежным домам.

Но когда картина была готова, Левитан все же разыскал своего несчастного учителя, вкусу и оценке которого он продолжал доверять.

Саврасов пришел в дом у Красных ворот, где в комнатухе под самой крышей ютился Левитан. Картину посмотрел, мнение свое выразил в размашистой надписи мелом: «Большая серебряная медаль». Он увидел в этом изображении жатвы не только зрелость мысли, но и возмужание кисти.

Другие преподаватели взглянули иначе на дипломную работу Левитана: она им не понравилась и была отвергнута. Никто даже не предложил доработать, улучшить картину.

Что произошло? Был ли так плох этот холст, или преподавателей обозлила оценка человека, которого уволили из Училища, а он продолжал навязывать им свое мнение?

Левитан не мог ответить на этот вопрос. Его оскорблял и угнетал позор провала. Предложение написать новую картину он в запальчивости отверг.

Неопределенность тянулась несколько лет, пока в 1886 году Левитан не получил диплом «внеклассного художника», с каким и вышел в жизнь.

## ***ПОД СОЛОМЕННЫМИ КРЫШАМИ***

Стасов растревожил Репина статьей о Всероссийской выставке. Художник счастлив: простой народ повалил из деревень смотреть картины. Вот когда наступил его долгожданный день.

И Репин пишет Стасову такие взволнованные строки:

«Туда бы на собрание этой многотысячной толпы! Вскочить на стол и сказать громко, откровенно, во всеуслышание:

«Долго ли вам еще прозябать в невежестве, рабстве и безысходной

бедности!»

Репин не вскочил на стол и не сказал речь народу — не те были времена. Россия переживала трудную пору. Царизм сводил счеты за покушение на трон. Черная реакция глушила проблески смелой мысли.

Но Репин нашел иной способ выразить свою идею. Он создал «Крестный ход в Курской губернии», красками написал обвинительный приговор деспотизму, послал упрек народу в бездействии.

Картину показали на XI Передвижной выставке, и ее встретил вой реакционной печати.

На той же выставке зритель увидел картину Ярошенко «Курсистка». Художник создал образ революционерки, каких немало уже уходило в подполье, гибло в тюрьмах ради светлых идеалов.

Суриков выставил своего «Меншикова в Березове», в котором под маской истории — тот же негодующий голос демократа, гневно осуждающего произвол.

То была пора расцвета творчества передвижников. Репин переживал огромный подъем. Обличительный и призывный тон его картин, высокое мастерство художника-гражданина были ярким выражением идеи передвижничества.

Одиннадцать лет назад все мыслящие передовые художники России встали под зовущие знамена Товарищества передвижников. Их девиз — передовая идея в искусстве, претворенная в совершенной форме.

От выставки к выставке искусство демократической правды крепло, набиралось сил.

Молодой Левитан следил не только за тем, что показывали пейзажисты. Дерзость мысли и верность убеждениям, исходящие от полотен Репина, захватывали его, повергали в трепет. Мудрость кисти, колористическая мощь картин Сурикова звали к труду неустанному.

Он был с ними, с передвижниками, сердцем, сострадающим мукам Руси, мозгом, ненавидящим деспотизм, кистью, стремящейся прославить русское искусство.

На другой год Левитан подал четыре картины на XII выставку передвижников и был принят экспонентом. Показали одну из них — «Вечер на пашне».

Огромное вспаханное поле, безграничное небо предвечерней порой и одинокий человек, идущий за плугом.

Согбенная трудом фигура пахаря, рисующегося силуэтом на светлом облаке, смотрится как символ мучительной жизни крестьянина. Сострадание к его судьбе направляло мысль и кисть художника.



В этой картине еще ощущается робость живописца, но и зрелость обличителя. Левитан как бы задает вопрос: «Кто довел человека до такой несчастной доли?» Вдали виднеется колокольня церкви в предзакатных лучах, будто храм освящает это истязание человека.

Картина родственна другим, написанным тем же летом в Саввинской слободе, куда Левитан поехал с приятелем — Василием Переплетчиковым.

Крупно, зримо, на первом плане — ветхие сараи, освещенные заходящим солнцем, за ними уходящие к горизонту поля. Все очень просто, как было в натуре. Но Левитан очистил увиденный мотив от лишних подробностей. Композиция продумана очень умно. Глаз следует за солнечным лучом, он, как прожектор, выхватывает главное. Художник говорит своей кистью: смотрите, какие огромные богатства распластала природа перед человеком и каким нищим среди этих сокровищ он живет!

Писал Левитан никому не приметный деревенский мостик, за которым тихая улица с избами, а на них крыши из соломы. Нарисовал уже к зиме для журнала «Россия» жалкий поселок, все с теми же худыми соломенными крышами и снегом, падающим прямо в жилище бедняка.

Всюду возмущение художника, его потрясенное сердце. Сила воздействия этих картин в том, что Левитан писал их, ни на минуту не забывая о своем назначении живописца. Поэтому захудалый деревенский мостик гармоничен по краскам, а сарай при закате тревожит напряжением цвета.

Саввинскую слободу под Звенигородом приятели выбрали по совету братьев Коровиных и Аладжалова, которые остались довольны проведенным там летом.

Место это славилось живописностью и давно привлекало художников. На высокой горе — старинный монастырь, к веселой реке сбегают сосновые и дубовые рощи. По равнине разметалась слободка. Это была типичная нищая русская деревушка. Левитан тем летом ближе узнал жизнь русского крестьянина, проникся его горем и перенес на холст то, что близко человеку, что он видит каждый день. Он создавал не умильные картины, а собирал на своих холстах всю горькую правду жизни.

Товарищи сняли комнату у той же хозяйки Горбачевой, которая благоволила к художникам, брала с них дешево, а кормила вкусно. Из года в год у нее поселялись молодые люди, умевшие ценить красоту окрестной природы, проводящие свободные часы в буйных спорах об искусстве.

Была хорошая пора. Расцвет молодости, надежд. Весна. Жили весело, ранним утром отправлялись на этюды, возвращаясь, играли в крокет со знакомыми дачниками. А по вечерам читали вместе Толстого, Тургенева.

Левитан познакомился с художником Каменевым — крупным русским пейзажистом, который постоянно жил в Саввинской слободе.

Еще недавно его картины запоминались на выставках: привлекала их большая искренность. Пейзажи принесли художнику звание академика, общее признание.

Но теперь этот рано состарившийся человек молчал. Он жил один, опустился. Изредка хозяин избы отвозил в Москву за бесценнок картины, написанные его постояльцем.

Иногда товарищи, возвращаясь с этюдов в сумерки, проходили возле дома Каменева. В окне показывалась его седая взлохмаченная голова.

— Почему проходите мимо? — зазывал их Каменев.

Левитан и Переплетчиков входят в едва освещенную комнату, грязную, запущенную. На столе — штоф водки, а рядом человек — ее раб, тот человек, который не раз испытывал высокий порыв вдохновения.

Каменев смотрит на обветренные, загорелые лица, на утомленный вид молодых художников, хорошо поработавших за день. Как все это знакомо, как напоминает его собственную молодость! И как все это далеко от его безысходного настоящего...

Однажды Каменев сам зашел к новым знакомым: захотелось посмотреть этюды. Они заполняли стены, стояли на полу, лежали на столе и стульях. Вся комната была усыпана этими красочными набросками летних наблюдений.

Каменев их разглядывал торопливо, нервозно. Так мог смотреть только художник, для которого искусство уже стало прекрасным прошлым. Он брал в руки даже незаконченные холстики, отходил от них и вновь приближался, суетился, прищуривался. Все пересмотрел.

Лицо его мрачнело. Авторы этюдов стояли рядом, молча глядя на этот неожиданный экзамен.

Каменев был немногословен. Он сказал: «Пора умирать нам с Саврасовым», — и ушел пошатываясь.

Посещение это оставило двойственное чувство: высокая оценка мастера окрыляла, зрелище упадка самого художника огорчало.

Лето приятели прожили дружно, хотя характер у Левитана был не из легких. Переходы от радости к горю, от покоя к тревоге, от вдохновения к упадку были свойственны ему смолоду. В отчаянии он проклинал все, что сделал, вообще отрицает в себе художника. Новый поворот настроения — и все рисуется в другом свете: день плодотворен, этюды кажутся стоящими внимания.

Частая смена настроений — не прихоть, а дань тяжелым ударам

судьбы, перенесенным еще в отрочестве, начало нервного заболевания, развившегося с годами.

Обычно Левитан бывал скрытен, в редкие часы распахивал душу перед друзьями.

Шли они как-то с Переплетчиковым через реку. Возвращались с этюдов. День догорал. Было тихо, природа спокойно засыпала.

Молодые люди увлеклись разговором. Наступил редкий момент полной взаимной откровенности.

Больше всего говорили о тщеславии. Признались друг другу в том, как хотелось бы им встать над толпой, выделиться, прославиться.

Левитан мечтал о славе, хотя и понимал, что это дурно. К искусству его влекло огромное чистое чувство преклонения перед природой. По рядом жило и тревожное, тщеславное стремление к успеху, популярности.

Затронув самые сокровенные глубины души, Левитан говорил и о том, как стыдится бедности, как часто возмущается его гордость.

Хороший получился разговор: после него легче стало на душе.

Случалось, Левитан неудачно пошутит и скажет девушке банальность. Все посмеются, посмеется и девушка. Левитан вдруг мрачнеет и скрывается.

Сколько раз Переплетчиков видел, как товарищ после этого рыдал, уткнувшись в подушку.

Искренность его страданий говорила о чистоте натуры, о том, что промахи, дурные поступки — случайное, наносное, с чем можно сладить...

Похолодало. Стал выпадать снег. Левитан вернулся в Москву. Он еще не раз побывает в Саввинской слободе, напишет здесь не один этюд.

## БАБКИНО

Утром Чехов ставил в реке вершу и услышал веселое приветствие:

— Крокодил!

Это на другом берегу кричал Левитан, с которым Антон Павлович познакомился через брата Николая и успел подружиться.

Веселая встреча, совместный завтрак и, конечно, сразу же в лес, на охоту. Бродили напрасно несколько часов, и только Левитану посчастливилось застрелить зайца.

Вечером художник вернулся к себе, в соседнюю деревню Максимовку, где поселился несколько дней назад. Потом он долго не появлялся в Бабкине. Антон Павлович даже начал беспокоиться.

Под вечер к Чехову из Максимовки пришла посоветоваться о своих хворобах жена горшечника, в избе которого жил Левитан. Она-то и сказала, что художник заболел, не выходит из каморки, а сегодня даже стрелялся, но, к счастью, не попал.

Встревоженный Чехов отправился с братьями к Левитану.

Шел теплый майский дождь, но такой упорный, словно природа спутала весну с осенью. Надели высокие сапоги, взяли фонари и вошли в темную, мокрую мглу. По скользким мосткам перебрались через реку, а потом шли напролом, увязая в размокшей земле.

Дорога вела густым, темным Дарагановским лесом. Фонари освещали только маленькое пространство, а из темноты выступали колючие ветви елей, вцеплялись в одежду кустарники, били по лицу мокрые листья.

Наконец показалась деревня Максимовка, найдена изба горшечника: к ней привели битые вокруг черепки.

Без предупреждения гости открыли дверь в комнатушку Левитана и ослепили его светом фонаря. Художник вскочил с постели и навел на вошедших револьвер. Но, узнав, закричал:

— Черт знает что такое! Какие дураки! Таких еще свет не производил!

Антон Павлович сумел всех рассмешить, ему удалось немного развеселить и Левитана. Он пригласил его переехать к ним в Бабкино.

Это была очень трудная весна для Левитана. Мятежное состояние началось еще в Москве. Писатель сообщил редактору журнала Н. А. Лейкину: «На этой неделе, очень может быть, нелегкая унесет меня во Владимирскую губернию на охоту. Дал слово, что поеду».

Но, пригласив друга, сам Левитан куда-то исчез. Чехов вновь писал о нем: «С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел на Святой с ним во Владимирскую губернию съездить, проветрить его (он же и подбил меня), а прихожу к нему в назначенный для отъезда день, мне говорят, что он на Кавказ уехал... В конце апреля вернулся откуда-то, но не с Кавказа... Хотел вешаться... Взял я его с собой на дачу и теперь прогуливаю. Словно бы легче стало».

Узнав о том, что Чеховы собираются жить на даче в имении Киселевых, Левитан снял комнату невдалеке. Но даже встреча с близкими людьми не смогла развеять его мрачного настроения. Он потерял веру в свое призвание, ему казалось ничтожным все сделанное, больше не надеялся на свой талант. А тут еще рядом несчастная семья: пьяница отец, голодные дети. И дождь льет, льет... Как все это совпадало с настроением художника! Тяжелые, гнетущие мысли о том, что жизнь не сулит ему ничего хорошего, подводят дуло к виску. Рука дрогнула — промах.

Только переселившись в Бабкино, художник отвлекся от своих горестных дум. Да здесь и нельзя было грустить. Веселое молодое общество — братья Чеховы, сестра Маша. А в большом доме — хозяйева усадьбы Киселевы: Мария Владимировна — детская писательница, ее отец Бегичев — бывший инспектор императорских театров, один умевший занять гостей воспоминаниями, приветливый отец семейства Киселев — земский начальник. Все это были люди, искренно интересовавшиеся литературой, искусством, они не давали скучать.

Река, поля, непроходимый лес и соловьи — весенние, неутомимые. Мигом был сочинен такой стишок:

А вот и флигель Левитана.  
Художник милый здесь живет,  
Встает он очень-очень рано  
И тотчас чай китайский пьет.  
Позвав к себе собаку Весту,  
Дает ей крынку молока.  
И тут же, не вставая с места,  
Этюд он трогает слегка.

Левитан поднимался раньше всех. И хотя Чехов в семь часов утра начинал рабочий день, художник уже до этого успевал написать этюд долины в утреннем тумане или подсмотреть, как проснувшееся солнце снимает с леса ночную таинственность.

Часто с Левитаном на этюды ходила и Маша. У нее были большие способности к живописи. Расположится под зонтом Левитан, а где-то рядом с этюдником Маша. Смотрит, как он строит композицию, как набрасывает чернилами рисунок, чтобы в увлечении не сбиться с формы.

Что может быть полезнее? Потом Маша училась у многих художников, посещала студии. Училище живописи. Но никогда не сравнила бы она те занятия с этими часами сосредоточенной работы рядом с Левитаном.

Скоро стены флигеля, где помещалось ателье художника, уже не вмещали всего того, что было написано. Жар увлечения не проходил. Удачные холсты рассеивали настроение безысходности.

Об этом лете, о дружбе, о молодости напоминает картина «Река Истра». Левитан подарил ее Чехову.

Эта картина очень проста по сюжету. Смело взят мотив. От самого края в глубь холста уходит извилистое русло гладкой реки. Узкая полоска

неба светло-серая. чуть тепловатая. Почти такого же цвета река. Чуть-чуть отличаются они по тону. Но в искусстве часто это «чуть-чуть» решает успех. Несколько мазков, и вы ощущаете колыхаемые ветром ветви, всю массу кустов — плотную, округлую.

Великое очарование простоты! В этом пейзаже его уже достиг художник. Не потому ли так любил эту картину Чехов, узаконивший простоту в литературе.

Когда со станции приезжал киселевский служащий Микешка, в Бабкине наступало оживление. Он привозил журналы, газеты. Все вырывали друг у друга номера с рассказами Чехова и нередко узнавали в них либо деталь бабкинского пейзажа, либо черту знакомого лица.

Сколько горячих споров возникало вокруг прочитанных книг, написанных только что рассказов или этюдов, на которых не успели высохнуть краски! Этот маленький кружок жил в атмосфере творчества.

В Бабкине Левитан сблизился с Чеховым. Их влекло друг к другу родство вкусов, единство интересов. Им нравились одни и те же книги, они любили в природе и элегию сумерек и буйство заката. Никогда не иссякало их взаимное тяготение.

В то лето 1885 года над всем царил Салтыков-Щедрин. Еще не остыли волнения, вызванные угрозой ареста сатирика и запретом журнала «Отечественные записки», который редактировал Щедрин. Полицейский сапог придавил это издание.

После того как пулей народовольца был убит Александр II, его преемник издал «Манифест о незыблемости самодержавия» и пустил на полную скорость машину деспотизма.

С благословения двора возникла организация «Священная дружина», провокацией и шпионажем пресекавшая малейшие проблески революционной мысли.

Бабкинский кружок читал щедринские «Письма к тетеньке», в которых писатель издевался над этим обществом титулованных мерзавцев. В пору разнузданной реакции редко кто осмеливался даже громко назвать это сборище шпионов и провокаторов. А Щедрин изобразил его под именем «Клуба взволнованных лоботрясов» и своей смелостью открыто бросил вызов всем, кто в дни безвременья ушел от борьбы.

Третье «Письмо к тетеньке» цензура запретила, оно распространялось в списках. И каждый, в ком билось честное сердце, поклонился мужеству стойкого сатирика.

Ни одно слово Щедрина, сказанное в печати, не миновало бабкинских обитателей.

Когда через несколько лет Россия прощалась с великим сатириком, Чехов написал о нем Плещееву:

«...Мне жаль Салтыкова. Это была крепкая, сильная голова. Тот сволочный дух, который живет в мелком, измощенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел один только Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения».

Отвращение к произволу, сильное у Чехова и Левитана, вскормлено также и острой щедринской сатирой.

Когда убористым почерком исписано несколько страничек и рассказ окончен, когда на стену приколот новый утренний этюд, можно предаться и страсти, которая одинаково владела всеми: рыбной ловле.

Могла часами простаивать с удочками рядом с Чеховыми и Мария Владимировна, ждала клева Маша, умирал свой нетерпеливый нрав Левитан, не спуская глаз с поплавок.

Но иногда он укреплял удочку и начинал читать стихи. Знал их множество, исполнял очень просто, будто делаясь своими мыслями. В тишине знойного дня звучал Пушкин и Некрасов, Никитин и Тютчев, Апухтин и Алексей Толстой.

В такие минуты забывалось о поплавке, поддаваясь колдовству поэзии, никто не замечал, как клевала рыба.

Слова стихотворения Мюссе в переводе Апухтина Левитан произносил как признание:

Что так усиленно сердце большое  
Бьется и просит и жаждет покоя?  
Чем я взволнован, испуган в ночи?  
Стукнула дверь, застонав и заноя.  
Гаснувшей лампы блеснули лучи...  
Боже мой! дух мне в груди захватило!  
Кто-то зовет меня, шепчет уныло...  
Кто-то вошел... Моя келья пуста.  
Нет никого. — это полночь пробило...  
О одиночество, о нищета!

Хороши были и вечера, которые проводили обычно в доме у хозяев имения. Усаживались на крыльце террасы и слушали рассказы Марии Владимировны о Даргомыжском, Чайковском, с которыми она была знакома, о том, как Петр Ильич делал ей предложение, но слишком поздно, после помолвки с Киселевым.

Предавался воспоминаниям и Бегичев. Случай, рассказанный им в один из вечеров, послужил Чехову сюжетом для «Смерти чиновника». Тогда же услышал писатель историю, которая вызвала к жизни трагический рассказ «Володя».

Бегичев был общительный, веселый и не выпадал из общего стиля молодого веселья. За то, что Левитан всех называл крокодилами, он прозвал его Левиафаном, по имени библейского животного. С художником дружил.

Часто молодежь забиралась в уютную комнату Бегичева.

Левитан писал вид из окна, слушая нескончаемые истории из жизни артистов.

Было много музыки. Пела сама хозяйка, пел артист Владиславов, постоянный гость Бабкина, очень хорошо играла на фортепьяно гувернантка детей Киселевых Ефремова.

Бегичев и Киселев раскладывали тихонько пасьянс. Левитан делал наброски, под которыми Чехов подписывал: «Вид кипариса перед Вами, Василиса», как он шутливо называл маленькую Сашу Киселеву.

В лунные ночи гурьбой уходили в большой парк и тут шалили, веселились, дурили. Рядились в халаты и чалмы. Левитан садился на осла и уезжал в поле. Там он расстилал коврик и начинал молиться по-мусульмански, на восток. Чехов тоже в халате, с лицом, вымазанным сажей, в чалме стрелял холостым зарядом в Левитана. Потом его хоронили с песнями, пронося по парку.

Хохотали и шутили так много, что порой пересаливали.

Вдруг на флигеле художника появлялась надпись: «Ссудная касса купца Левитана», состряпанная Киселевым, или устраивался над ним инсценированный суд, обвиняющий его в мошенничестве, тайном винокурении. Киселев, занимавшийся в земской управе судебными делами, обставлял это судилище всеми костюмами и атрибутами. Обвинительные речи произносил Антон Павлович, и все задыхались от смеха. Вместе со всеми хохотал Левитан. Но в глубине души от этих комических представлений у него оставался порой неприятный осадок. В погоне за острым словцом шутники не замечали, что больно задевают самолюбие Левитана. Часто в разгар забавы он убегал в свой флигель.



Но проходило несколько дней, художник вновь обрел спокойствие и участвовал во всех веселых затеях Чеховых и Киселевых. Он любил шутку и сам был изобретателен и остроумен.

Однажды Левитан усадил Чехова и написал его портрет. Он очень любил лицо Антона Павловича.

Сеанс был коротким, этюд даже остался неоконченным. Левитан больше к нему не возвращался, боясь утратить то хорошее, что удалось передать во вдохновенном наброске.

Из всех портретов, написанных Левитаном, этот — самый удачный. Чехов был молод, он еще резвился на страницах юмористических журналов, подписывая свои пустячки веселыми псевдонимами. Под впечатлением бабкинського лета писались блистательные «Дочь Альбиона» и «Налим».

Но художник увидел в лице друга черты, которые как бы предугадывали его близкое будущее, — писателя, скорбящего о судьбах Руси, мудрого, сурового, волевого, того, который напишет «Палату № 6» и «Скучную историю».

Увидеть человека с такой глубиной мог только пронизательный художник и близкий друг.

Часто после обеда ходили за грибами в Дарагановский лес. Чехов и Левитан были заядлыми грибниками. Около леса стояла Полевшинская церковь, при ней сторожка, неподалеку от почтовой дороги. Служили в церкви только раз в год, но каждый день сторож отбивал на колокольне часы.

Часто проходил Чехов мимо сторожки: в этих прогулках придумался сюжет его гениальной «Ведьмы», действие которой происходит в такой же убогой церковной сторожке.

Писалось в Бабкине хорошо. По вечерам в доме Киселевых иногда вместо концертов Чехов предавался безудержным импровизациям. Многие из устных рассказов было им написано, но многое так и разбросалось по ветру с щедростью молодости.

Однажды в беззаботность бабкинського лета вторглась драматическая нотка. Левитан увлекся Машей и со всей экспансивностью своей натуры шумно признался ей в любви. Мария Павловна так вспоминала об этом признании:

«Иду я однажды по дороге из Бабкина к лесу и неожиданно встречаю Левитана. Мы остановились, начали говорить о том, о сем, как вдруг Левитан бух передо мной на колени и... объяснение в любви.

Помню, как я смутилась, мне стало чего-то стыдно, и я закрыла лицо

руками.

— Милая Маша, каждая точка на твоём лице мне дорога... — слышу голос Левитана.

Я не нашла ничего лучшего, как повернуться и убежать от него.

Целый день я сидела расстроенная в своей комнате и плакала, уткнувшись в подушку. К обеду, как всегда, пришел Левитан. Я не вышла. Антон Павлович спросил окружающих, почему меня нет. Миша, подсмотревши, что я плачу, сказал ему об этом. Тогда Антон Павлович встал из-за стола и пришел ко мне:

— Чего ты реवेशь?

Я рассказала ему о случившемся и призналась, что не знаю, как и что нужно сказать теперь Левитану. Брат ответил мне так:

— Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты.

Мне стыдно было сознаться, что я не знаю, что такое «женщина бальзаковского возраста», и в сущности я и не поняла смысла фразы Антона Павловича, но почувствовала, что он в чем-то предостерегал меня. Левитану я тогда ничего не ответила. Он с неделю ходил по Бабкину мрачной тенью».

Чехов хотел оберечь сестру от возможных страданий. Но своей осторожностью он оберек ее и от счастья.

Бабкинские обитатели старались скорее сгладить трагические отзвуки так неудачно начавшегося романа. Особенно изобретателен был Бегичев. Он нарочно ходил с Машей гулять будто невзначай мимо флигеля Левитана.

Вскоре Маша снова дружила с художником, и воспоминание о пылком объяснении в лесу затянулось грустной дымкой. Он остался для нее шестым братом, а она по-прежнему была ему ближе духовно, чем родные сестры.

Но для Левитана история неудачного сватовства не прошла бесследно. Никогда больше он уже не искал счастья семейной жизни.

## **ТРАГЕДИЯ ХУДОЖНИКА**

Милое Бабкино пришлось оставить в самый разгар жаркого лета. Левитан заболел и уехал в Москву, в свой скучный номер мебелирашек, на полное одиночество.

Врачи назвали болезнь катаральной лихорадкой, и она продержала его

долгие дни в постели.

Очень хотелось вернуться в Бабкино, соскучился по друзьям и всему укладу тамошней привольной жизни. Но нет сил даже написать письмо, диктует: «Вообще мне не скоро удастся урваться к Вам, и об этом я страшно горюю... Душевный поклон всем бабкинским жителям, скажите им, что я не дождусь минуты увидеть опять это поэтичное Бабкино; об нем все мои мечты».

В этот же день, 23 июня, навестить больного пришел Николай Чехов. Осунувшееся лицо Левитана в темной оправе волос показалось художнику интересным для наброска. Он попросил его не менять позу и сделал очень хороший рисунок.

На белом листе бумаги крупно изображена только голова, погруженная в мягкую подушку. Страдальческие глаза. Николай подписывает: «Рисовал с больного Левитана. 1885 г. 23 июня».

Этот рисунок, сделанный по настроению, показывает большое дарование Николая Чехова. Года за два перед этим он написал брата Антона в профиль.

Левитан в своем портрете придал Чехову черты суровой мужественности, Николай изобразил его нежнее, но ему удалось передать разлитую по лицу горечь, даже некоторую долю страдания. Портрет обладает удивительной обаятельностью, говорит о ярком таланте художника, его умении давать кистью точные психологические характеристики.

Николай Чехов и Левитан вместе учились. Одно время жили вдвоем в «Восточных номерах». Тут, деля общие невзгоды, они и подружились.

Сюда как-то пришла Мария Чехова, юная, застенчивая. А Левитан, увидя ее румянец смущения, протянул к ней обе руки и воскликнул восхищенно:

— Боже мой, Marie! Да вы совсем взрослая барышня.

Маша запомнила эту первую встречу...

Друзья делились скудными средствами, а если и они иссякали, шли по знакомому адресу на Арбат. Там жил учитель рисования, который умел выгодно обращать в деньги талант молодых художников.

Приходу Чехова и Левитана этот человек был особенно рад. Он давал им темы, холсты, натянутые на подрамники, кисти, краски и оставлял одних в комнате. Плата была поденной и очень низкой.

Законченные картины делец прописывал для видимости своей кистью, ставил подпись и продавал.

Участвовать в такой сделке было противно, но нужда насильно гнала

на Арбат.

Иногда они вместе создавали картины. Женская фигура, идущая по осенней аллее левитановского пейзажа, получила жизнь под кистью Николая, а в его картине «Мессалина» небо писал Левитан.

Николай очень много рисовал для журналов. Часто в одном номере можно было встретить произведения двух братьев — рассказ и рисунок. Или Чехов делал подписи к рисункам брата, а Николай — иллюстрации к его рассказам. В этих журналах сотрудничал и старший Левитан.

Мастерство рисовальщика крепло. Николаю удавались сложные композиции со многими фигурами, он был уже силен и в юморе и в жанровой зарисовке.

Еще занимаясь в Училище, Николай брал слишком много заказов. Платили за рисунки гроши, а жилось семье Чеховых тогда предельно трудно. Почти не оставалось времени и сил для серьезной работы живописца.

Николая природа наделила многими талантами. Он был виртуозный рисовальщик, многообещающий живописец и даровитый музыкант. К нему никогда не приглашали учителя музыки. Нот не знал. Но, слушая, как он играет сонаты Бетховена и ноктюрны Шопена, никто бы не догадался, что за инструментом сидит самоучка. Дивились такому дару даже профессиональные музыканты.

Левитан упивался игрой Николая. Антон Павлович часто просил брата играть: ему лучше писалось под музыку.

Но, кроме талантов, природа наделила Николая и малодушием. Он сблизился с журнальной богемой, дружил с кутилами и разрушал свое некрепкое здоровье пьянством.

Антон Павлович с горечью писал об этом брату Александру: «Николка (ты это отлично знаешь) шалаберничает; гибнет хороший, сильный, русский талант, гибнет ни за грош... Еще год-два, и песня нашего художника спета. Он сотрется в толпе портерных людей... Ты видишь его теперешние работы... Что он делает? Делает все то, что пошло, копеечно... а между тем в зале стоит начатой замечательная картина».

Вынужденный размениваться, тратить свой талант на множество ничтожных по теме рисунков, Николай Чехов мало предавался творчеству, к которому был предназначен. Неоконченная картина «Бедность» показала, какие силы таятся в еще не раскрытом дару художника.

В картине этой — безысходность нищеты. Швея, сидящая возле убогого стола, — олицетворенное страдание, отчаяние. Великим сочувствием к человеческому горю пропитано это скорбное полотно.

Все горше тон писем Антона Павловича, все резче его осуждение. И, наконец, в марте 1886 года Чехов послал брату свое письмо-приговор, и в нем такие мудрые строки: «Ты одарен свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 2.000.000... Талант ставит тебя в обособленное положение. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой... Они горды своим талантом...»

Резкие, бичующие слова, сказанные великим тружеником, который понимал, какое огромное самобытное дарование его брат расплескивает по кабакам.

Николай опускался все ниже и ниже, пьянствовал даже в Бабкине.

Левитан негодовал. Еще одна трагедия, глубоко потрясшая душу художника.

Саврасов, Каменев... Они, правда, успели создать так много, что заняли свое место в русском искусстве. Но их кисти тоже слишком рано умолкли. Теперь Николай... По силе дарования он мог бы встать вровень с братом. Но призывы к благоразумию уже не вызывали на лице его краски стыда. Какое это проклятие!..

Чехов порой применял насильственные меры, он писал о Николае Лейкину: «Я заберу его с собой на дачу, сниму там с него сапоги и на ключ... Авось будет работать!..»

Проходило несколько дней. Николай тайком покидал Бабкино, чтобы вернуться к своим московским развлечениям.

Есть замечательная фотография. Антон Чехов, совсем еще молодой, с длинными, зачесанными назад волосами, стоит в комнате, опершись на пианино. Рядом за столом — столь же юный его брат-художник. Он что-то рисует. Вокруг много больших папок с рисунками.

Николай в очках. Уже в ранней молодости зрение его давало осечку. Что может быть опаснее для художника! Наконец зрение вовсе не выдержало и сдало. Пришлось оставить Училище. А с этим Николай терял отсрочку по военной службе и перешел на полуплегальную жизнь, скитался.

Угроза встала перед ним реальная, страшная. Были времена, когда художник переставал различать цвет, тональные соотношения красок.

Надвигалась трагедия. Избранный путь, будущее — все зашаталось. Николай не был человеком стойким. И грозящее бедствие окончательно сломило его волю.

## КАРТИНЫ НА СЦЕНУ

Савва Мамонтов создавал частную оперу и хотел, чтобы в оформлении спектакля отказались от былой рутины, чтобы вместе с русской музыкой на сцену пришли живые, талантливо исполненные декорации.

В театр пригласили и Левитана. Для него это была новая область — ни навыков, ни привычных приемов.

Первой ставили «Русалку» Даргомыжского. Ею 9 января 1885 года открылся сезон частной оперы.

Пейзажные декорации писал Левитан. Он же по эскизу В. Васнецова исполнил сцену подводного царства.

Как вспоминает Н. В. Поленова, жена художника, декораторы «бросили принятый дотоле способ вырезных деревьев с подробно выписанными листьями, а просто писали талантливые картины».

Когда открылся занавес, в зрительном зале раздались аплодисменты. Они адресовались к авторам оформления. Для оперного театра — это первый случай.

Работа над декорациями принесла Левитану большую пользу. Он постепенно отрешался от своей ученической любви к деталям, тренируя глаз и кисть на более обобщенном изображении сюжетов. Писать декорации надо было широко, размашисто, следя за тем общим впечатлением, какое они производили бы на большом расстоянии.

И кисть становилась более смелой, уверенной, свободной.

Писали обычно группами весело. Время летело незаметно. Мастерскую устроили в доме на 1-й Мещанской улице.

Это было большое, нелепо раскрашенное помещение. В центре — русская печь. На ней отдыхали, грелись, завтракали. С нее, как с вышки, смотрели на растянутые по полу декорации.

Художник В. Симов вспоминал об этой дружной работе:

«Вечер. Уже десять часов. Исаак Ильич Левитан, Николай Павлович Чехов и я — счастливые обитатели этой печи. Константин Коровин тоже писал здесь, но у него с Левитаном было художественное соревнование, поэтому он работал отдельно. Ноги гудят от усталости. Надо передохнуть, чтобы с новой энергией писать всю ночь, так как назавтра генеральная репетиция.

Маляр Москвичев, успевший хлебнуть лишнее, тоже покоится в холстах, у подножия этой печи.

Тишина... Вот хлопнула входная дверь с ее скрипучим припевом. Кто

бы мог зайти в такой поздний час?.. Знакомые шаги, знакомое приветствие, хорошо знакомая фигура с милым, улыбающимся лицом.

Сразу повысилось настроение, мы рады дорогому гостю. Вошедший раздевается, мы глядим сверху на стройный силуэт в скромной серой пиджачной паре и дружелюбно приглашаем:

— Лезьте, лезьте, Антон Павлович, к нам на печь! Здесь тепло, уютно, да чай с колбасой еще вдобавок».

Чехов по стремянке поднимался наверх, глядел на декорации, высказывал свои замечания «не живописца-профессионала, а просто художника по натуре».

Потом начинались веселые рассказы, выдумки, сочиненные на ходу, талантливо переданные, доводившие слушателей до хрипоты от смеха, «а Левитан (наиболее экспансивный) катался на животе и дрыгал ногами».

Художники снова принимались за работу, а писатель, посмотрев, как они трудятся, уходил.

Константин Коровин впоследствии стал известным декоратором, и сделанные им постановки поныне остаются шедеврами театрального искусства. Левитана же театр не увлек и не отклонил от избранного пути.

За большую работу Левитан впервые получил довольно много денег и уехал в дальнее путешествие в Крым, куда давно влекло его щедрое солнце.

## **СОЛНЦЕ ЮГА**

В Москве по утрам еще напоминали о зиме легкие заморозки и на улицах держался снежок.

В Ялте поразила синева — она заливала море и небо, и порой было трудно найти грань между ними.

«Как хорошо здесь! — писал Левитан в конце марта Чехову. — Представьте себе теперь яркую зелень, голубое небо, да еще какое небо! Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море, и знаете ли что, — я заплакал, и заплакал навзрыд; вот где вечная красота и вот где человек чувствует свое полнейшее ничтожество! Да что значат слова, — это надо самому видеть, чтоб понять!»

Левитан поселился в той части города, которая теперь зовется старой Ялтой. Улички, карабкающиеся вверх, заборы, сложенные из серого камня с прозеленью мха, узкие скользкие лесенки, ведущие к маленьким каменным домам, красные черепичные крыши.

Над всем — чистый голубой небосвод.

В доме земской учительницы Зибер, державшей частную библиотеку, Левитан снял комнату. Тут было тихо, с высоты расстилалась морская даль и виднелись горы во всей их занятой изменчивости.

Левитан был бодр и очень много трудился: «если так будет работаться, то я привезу целую выставку».

Он писал розовое облако расцветших плодовых деревьев и вершину Ай-Петри, словно обрезанную пеленой тумана. На его этюдах — освещенные солнцем камни в пене морских волн и парусный ботик в штиль.

Он забирался в горы и там с интересом разглядывал стволы крымских деревьев — витиеватые, скрученные. Художнику нравилось разбираться в их сплетении, тут можно было постичь секрет пластики.

Здесь, в этом изобилии красок, слащавых видиков, вечнозеленых деревьев и торчащих в небо кипарисов, Левитан увидел суровую красоту Крыма, его могучие морские дали, величественные горные кряжи. Не роскошные виллы перенес он на холсты, а маленькие сакли у подножия горы, убогую нищету бедных жилищ.

Однажды, взобравшись высоко в горы, Левитан заметил там северные сосны. Это напоминание о скромных красках родных мест растрогало его, и он написал этюд. Очень традиционный, дань своей ранней манере. В соснах этих — тоска художника по русской природе.

Левитан уехал в Алупку за новыми мотивами и впечатлениями. Писал друзьям, что очень обленился, но этюды все прибывали, и их яркая, сочная гамма говорила о том, что поездка на юг оказалась для художника плодотворной, она высветлила его палитру и научила изображать солнце.

Приятель Левитана по Училищу — архитектор Ф. О. Шехтель — делился с Чеховым своими опасениями:

«Левитан разразился двумя письмами — Вам и мне... Его письмо сплошной восторг и увлечение Крымом, в конце концов он сознается, что я был прав, что он оттолкнется от Севера.

Вообще не думаю, чтобы эта поездка принесла ему какую-либо пользу, скорее, наоборот; очевидно, что он увлечется яркостью и блеском красок, и они возьмут верх над скромными, но зато задушевными тонами нашего Севера. Пропаций человек!»

Такой безнадежный вывод не имел никаких оснований. Левитан не изменил северу. Он приписал свой ответ Шехтелю в письме к Чехову: «И пусть не беспокоится, — я север люблю теперь больше, чем когда-либо, я только теперь понял его».

В одном из писем к Левитану Чехов обмолвился о радостном событии,



которое произошло в его жизни.

26 марта он неожиданно получил письмо от Д. В. Григоровича, который почувствовал большое и самобытное дарование молодого Чехонте. Старый писатель предостерегал Чехова от изнурительной журнальной работы, призывал не растрачивать талант, поберечь его для предстоящих крупных произведений. В письме были такие слова:

«Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается редко».

Как эти слова перекликаются с теми, которыми Чехов призвал брата Николая уважать свой талант!

Левитан любил Чехова, и это большое событие в жизни писателя воспринимал, как свое личное — радостное, окрыляющее. Он просит подробностей: «Не забудьте написать содержание писем Григоровича, это меня крайне интересует».

Шутливый тон писем Чехова, остроты, пустячки не утоляют желание художника знать все о жизни Чехова. Он сетует: «Да и вообще. Вы такой талантливый крокодил, а пишете пустяки! Черт вас возьми!»

Он соскучился не только по северу, но и по другу. Высказывает это обычно неуклюже, прикрываясь тоже шуточкой: приедет, «...а там непременно в Бабкино (видеть Вашу гнусную физиономию)».

Крымское турне окончено, мечта осуществилась. Снова Бабкино, родная семья. Дни, наполненные неутомимым трудом, откровенные беседы, бесшабашное веселье.

Крымские этюды произвели на всех сильное впечатление. Чехов сообщил об этом своей воскресенской знакомой Сахаровой:

«Со мной живет Левитан, привезший из Крыма массу (штук 50) замечательных (по мнению знатоков) эскизов. Талант его растет не по дням, а по часам».

Знатоки не ошиблись. Крымские этюды привлекли всеобщее внимание на Периодической выставке. Их быстро раскупили. Дарование Левитана отныне стало общепризнанным.

Понравились этюды и Поленову. А это для молодого художника было особенно ценно — ведь и в Крым-то он потянулся после того, как пленился поленовскими светлыми, яркими этюдами, написанными в Палестине.

Поленов будущим летом тоже побывал в Крыму и писал оттуда жене:

«Чем больше я хожу по окрестностям Ялты, тем все больше я оцениваю наброски Левитана. Ни Айвазовский, ни Лагорио, на Шишкин,

ни Мясоедов не дали таких правдивых и характерных изображений Крыма, как Левитан. Сегодня только одно время были облака вроде Айвазовского — пухлые, бело-серые и приторно-стусшеванные, как это умеет Айвазовский один, но у него это доведено еще до большей слащавости. Молодец Левитан!»

И вот через семь лет после приобретения Третьяковым первой картины Левитана в галерее появилось еще два «Левитана» — крымские этюды 1886 года.

Битву за себя, начатую еще в Училище, Левитан выиграл. И хоть впереди лежал трудный путь, художник именно сейчас мог с благодарностью вспомнить слова великого Бетховена, услышанные в юности.

Да, он помог себе сам!

## II СВЕЖИЙ ВЕТЕР

### ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Левитан был уже известным художником, но жил по-студенчески впроголодь и скитался по «меблирашкам». Летом он уезжал на этюды, а осенью возвращался в свое холостяцкое обиталище. Как неудобно заниматься живописью у мольберта, скупо освещенного маленьким окошком!

Зимой 1886 года Левитан заболел. Михаил Нестеров пришел его навестить.

«Помню, как сейчас, зимнюю морозную ночь в Москве; меблированные комнаты «Англия» на Тверской; довольно большой, низкий, как бы приплюснутый номер в три окна с неизменной деревянной перегородкой. Тускло горит лампа, 2–3 мольберта... От них тени по стенам. Тихо. Немного жутко. За стеной изредка стонет тяжело больной Левитан. Поздний вечерний час. Проведать больного зашли товарищи».

В тот вечер Нестеров впервые встретился с молодым врачом Чеховым, который пришел лечить больного товарища. В сильные морозы художник писал этюды на Москве-реке и простудился. Разыгралось воспаление надкостницы.

Когда боли забылись, Левитан снова приходил с этюдником к реке. Тусклый свет комнаты угнетал. Хотелось увидеть солнце, воздух, почувствовать простор и дали.

Ранние зимние сумерки. Хорошо после комнаты, пропитанной запахами масляных красок и керосиновой лампы, очутиться на улице и глубоко вздохнуть! Идет снег, и от этого на душе весело. Фонари, тумбы и даже городской стоят под пушистыми шапками снега.

Приехал из Уфы Нестеров, надо навестить его, посмотреть, что он сделал. Там, наверное, уже собрались старые друзья, идут жаркие споры.

Недавно Левитан был у Переплетчикова, и опять говорили о реализме и романтизме. Где больше правды, что ближе к истине? Вот заснеженная московская улица, дома, в которых мы живем. Сделать эти обыденные вещи красивыми на холсте, разве это само по себе не романтично?

А Переплетчиков, посмотрев новые левитановские работы, обвинил его в излишней простоте, считая, что обыденность сюжета делает картину

скучной.

Переплетчиков соглашался с Левитаном, что нельзя достигнуть высокого мастерства без образования. Не получил художник знаний в Академии или Училище — обязан учиться сам. К этому призывал Поленов. Он, кроме Академии, кончил Университет. Вспоминались и слова Крамского о том, что художник должен быть самым развитым и образованным человеком своего времени.

У Нестерова уже собрались однокашники: братья Коровины, Светославский, Сергей Иванов, Переплетчиков. Все старые друзья, имена их уже мелькают на страницах газет, и они вспоминают тех, кто «не выплыл», своих товарищей по Училищу, которых захлестнула нужда или покинули силы. Сколько даровитых людей, не выдержав борьбы, уезжают в провинцию учительствовать, идут реставрировать алтари, пишут для рынка дешевенькие картинки или рисуют генералов и купцов с пожелтевших фотографий!

Да Левитана и самого одолевает безденежье. Он хочет жить только своим искусством, не желает угодничать, а продаются картины не очень-то бойко.

И вновь возникает разговор о том, нужно ли прислушиваться художнику к голосу толпы или самому вершить «свой высший суд».

Как ответишь на этот вопрос? Хорошо, что есть товарищество. На этом все соглашаются, и хозяин разливает по бокалам красное вино. За дружбу!

Новая картина Нестерова, «Девушка-нижегородка», ни на кого большого впечатления не произвела, но чувствовалось, что художник выходит на какой-то новый для себя путь. А портрет Сергея Иванова друзьям очень понравился.

Переплетчиков заметил, что их приятель по Училищу Виноградов только Сергея Иванова и Репина считает за художников во всем русском искусстве, Поленова отрицает, Сурикову не отказывает в таланте, но отвергает его самобытность. И снова возвращаются молодые художники к достоинствам репинской кисти, к могучему цвету Сурикова, к тому, как много еще надо потрудиться, чтобы хотя бы приблизиться к ним.

Поздно. Как ни хорошо среди товарищей, а пора домой. Левитан привык очень рано начинать рабочий день. Но разошлись только после того, как обсудили недавно вышедшую пьесу Льва Толстого «Власть тьмы».

Антон Павлович жил не очень далеко от Левитана. Надо пройти до

Триумфальной площади, повернуть за угол и быстрым шагом измерить несколько кварталов Садовой. Возле Кудриной стоял двухэтажный особняк Корнеева, в котором поселился Чехов и очень метко прозвал его «комодом».

Случалось, заработается Левитан у себя в номере или побывает в гостях, в театре, вдруг вспыхнет острое желание увидеть Чехова.

Ночь, морозно, снежок хрустит под ногами. В окнах домов гаснет свет. Не поздно ли?

Левитан подходит к дому. Спальня Чехова в первом этаже, и посмотреть в окно не представляет труда: свет есть. И слышится легкий стук в стекло, пронзительный шепот:

— Крокодил, ты спишь?

Все в доме спят. Стараясь не шуметь, Чехов выходит в прихожую, не зажигая огня, тихо открывает дверь и впускает Левитана вместе с ночной морозной сыростью.

Говорят шепотом. Рядом в маленькой комнате спит Михаил. Они сидят в кабинете, горит лампа под зеленым абажуром. Тихо льется беседа. Горькое растворяется в мягкой шутке, перестает казаться столь серьезным, на душу ложится покой. Не потревожь он Чехова, быть бы ночи бессонной, тоска душила бы до утра.

Бывал Левитан на Кудриной часто, как в родном доме. Работает Антон, можно подняться на второй этаж, посидеть с Марией Павловной, попросить Николая сыграть любимые вещи.

Так повелось. Напишет Чехов новый рассказ и читает его родным. Часто при этих чтениях бывал и Левитан. Пьесу «Иванов» он услышал впервые тоже в авторском исполнении. Понравилась она ему и в театре.

Чехов писал об этом брату Александру 24 ноября 1887 года: «Чтение пьесы не объяснит тебе описанного возбуждения; в ней ты не найдешь ничего особенного. Николай, Шехтель и Левитан — т. е. художники — уверяют, что на сцене она до того оригинальна, что странно глядеть».

Левитан переживает вместе с Антоном Павловичем удивительный успех его первой повести «Степь», читает ее в декабрьской книжке «Северного вестника», передает ему восторженные отзывы читателей.

Чехов заходит в сумрачный номерок Левитана.

Видит холсты, прислоненные к стене, перевернутые. Эти «дозревают». Видит свежие мазки, только что положенные на уже знакомых картинах. Чутким зрением проникновенного пейзажиста замечает, как от холста к холсту художник шагает все увереннее.

В доме на Кудриной было много веселья. Здесь молодец убеленный сединами писатель Григорович и расправлялись морщины на лице у поэта

Плещеева.

Особенно бурно веселились в день рождения Чехова. Играли, исполняли шуточные танцы. Смех не умолкал. Сколько тут разыгрывалось сверкающих остроумием импровизаций, каких только забав не придумывали!

В Москве широкую известность приобрели шмаровинские «среды». Они получили свое название по имени хозяина дома в Савеловском переулке на Остоженке. Шмаровин после женитьбы стал богатым человеком, и дом его был широко открыт для людей искусства.

В среду приходили художники различных эстетических убеждений, все, кому дорого общество собратьев. Они рассаживались за большим столом, рисовали, писали акварелью. Левитан тоже бывал у Шмаровина.

Рисунки часто разыгрывались в лотерею. Приходили на «среды» артисты, писатели, меценаты. Иные из них покупали грошовые лотерейные билеты пачками и становились обладателями набросков, даже законченных композиций, принадлежавших перу или кисти Левитана, К. Коровина, Поленова, Нестерова.

Здесь можно было услышать пение Шаляпина, монолог артиста Ленского, игру блестящих пианистов.

В двенадцать часов пополуночи звучал гонг, возвещавший конец трудам. Шумное общество приступало к трапезе, поднимались тосты.

Завсегдатаем «сред» бывал литератор Гиляровский, «дядя Гиляй», он сочинял экспромты — острые, юмористические стихи, песни.

Был шуточный гимн «сред», который исполнялся, когда произносился уже не один тост.

Шмаровин покупал работы художников, у него собралась целая коллекция, и там было много левитановских полотен.

Расходились под утро, с тем чтобы через неделю вновь посетить дом, где так любили и оберегали искусство.

Адольф Левитан тоже посещал «среды». Его знали как умелого рисовальщика; особенно удавались ему зарисовки типажей. Старший Левитан мыкался по гостиницам, очень нуждался, кормясь неверным заработком журнального художника. Братья не ладили, всегда жили в разных номерах и встречались чаще всего в многолюдном обществе.

Не было у них родственной близости, а их родство в искусстве даже грозило еще большей рознью. Адольф ревниво относился к растущей известности младшего брата. Теперь, говоря о картинах Левитана, все реже прибавляли к этому имени словечко «младший». Ясно, что похвала и

внимание относились к молодому пейзажисту.

Антон Павлович, который нередко встречался с Адольфом на страницах одних и тех же журналов, в письме к Лейкину сообщал, что с ним живет художник Левитан, в скобках заметил: «Не тот, а другой — пейзажист». Левитан-старший был известен в журнальной среде, Левитан-младший — в большом искусстве.

## **САЛОН КУВШИННИКОВОЙ**

Еще в одном доме Левитан часто виделся со всеми Чеховыми и братом. Он бывал у Софьи Петровны Кувшинниковой, которая устраивала званые вечера и приглашала писателей, художников, артистов. Посещала ее салон Мария Николаевна Ермолова, здесь пел Донской, играли известные музыканты.

Жили Кувшинниковы в доме под пожарной каланчой, неподалеку от знаменитого Хитрова рынка.

Дмитрий Павлович был полицейским врачом. Не раз, когда в гостиной жены собиралось пышное общество, его вызывали остановить кровь, забинтовать рану или дать медицинское заключение о только что совершенном преступлении.

Он был общим любимцем, и даже хитровские жулики относились к нему с грубоватой нежностью.

После мрачной прокуренной комнаты полицейского участка, после зверских лиц и зрелища крови Кувшинников входил в освещенную гостиную. Он слушал звуки виолончели, пение, игру жены на рояле. Софья Петровна — в центре внимания, она — душа салона.

В опубликованной автобиографии С. П. Кувшинникова дала такую характеристику своей жизни: «Поклоняясь театру, музыке, всему прекрасному, доблестному, я часто сталкивалась с очень интересными людьми.

Имея мужа, человека на редкость гуманного, великодушного, так же глубоко любящего искусство, как и я, и не только не ставившего мне преград для занятий им, но, наоборот, всячески помогавшего в этом отношении, будет понятно, если я скажу, что жизнь моя была почти сплошным праздником...»

В искренность этих слов можно легко поверить. Софья Петровна была женщиной разносторонне одаренной, и она сама создавала себе этот вечный праздник.

Музыка — ее самый сильный дар. Она играла блистательно, имела разнообразный репертуар, особенно тонко чувствовала бетховенские сонаты.

Сколько раз Донской исполнял партии из «Лоэнгина», «Пиковой дамы» или «Паяцев» под аккомпанемент Софьи Петровны. Она легко читала ноты с листа, часто играла трио с виолончелистом и скрипачом.

Софья Петровна увлеклась живописью довольно поздно, но училась упорно, и скоро ее имя примелькалось на московских выставках.

Скромная квартирка ее стараниями превратилась в оригинальное жилье.

Софья Петровна привлекала в свой салон людей искусства, которым улыбнулась слава. Поэтому после успеха крымских этюдов она заинтересовалась Левитаном и поспешила познакомиться с ним.

Художник посмотрел этюды хозяйки салона, нашел, что она не лишена дарования. Софья Петровна мечтала поучиться живописи у такого интересного пейзажиста, каким уже был Левитан.

Она спросила довольно робко, не согласится ли художник хоть изредка направлять ее занятия живописью. Левитан не смог отказать ей. А осенью Софья Петровна попросилась поехать с ним и Степановым на этюды в Саввинскую слободу.

Так Кувшинникова вступила в братство художников и старалась не отставать хотя бы в трудолюбии от молодых пейзажистов.

Чехов, чуткий к переменам настроений друга, в письме к Киселевой характеризовал его метко и коротко: «Левитан закружился в вихре». Это сразу обнимало все изменения в жизни молодого художника: и успех его в обществе, и хвалу его кисти, и, наконец, появление ученицы. Немного словен был Чехов и во внешней характеристике Левитана:

«Едва я кончил письмо, как звякнул звонок и... я увидел гениального Левитана. Жульническая шапочка, франтовской костюм, истощенный вид... Был он два раза на «Аиде», раз на «Русалке», заказал рамы, почти продал этюды... говорит, что тоска, тоска и тоска».

Крымские этюды почти проданы еще до выставки. Теперь можно купить новый костюм, утолить давнее желание хорошо одеться. Он ходит в театры, знакомится с интересными людьми, посещает художественные кружки.

Несмотря на такие внешние признаки благополучия, он жалуется на тоску. Таков Левитан. Приятное для него всегда отравлено ядом страданий.

Левитану в это время было только двадцать шесть лет. Сколько счастливых дней украл у молодости недуг, который врачи называли



меланхолией! Это несчастье породили страдания и лишения юности.

Но в иные дни это был другой Левитан. Когда речь заходила об искусстве, он преображался.

Артист Донской рассказывает об этом: «И сейчас он стоит передо мной как живой, в разгар спора... со сдержанными, но полными внутреннего огня жестами, со сверкающими, удивительными глазами... Его речь в таких случаях была фейерверком, и он засыпал своего противника бесконечными потоками блесков... Откуда что бралось? Неожиданные мысли выливались в те образные и своеобразные выражения, которыми умеют думать и говорить только художники. В каждом слове чувствовалась сила и уверенность страстного убеждения, добытого долгими одинокими переживаниями и согретого темпераментом истинного большого художника».

Задумчивость сменялась в нем вспышками веселья, молчаливая угрюмость — мудрой импровизацией мыслителя.

Иногда, просидев мрачно весь вечер, Левитан брал альбом Софьи Петровны, задумчиво перелистывал его страницы. Мелькали рисунки, стихи, автографы. Среди них — рисунки, сделанные Д. П. Кувшинниковым, — какая-то старинная башня вроде часовни и колоннада, обрамляющая подход к ней. На втором — узорчатые ворота.

А вот и сам доктор Кувшинников, нарисованный братом Софьи Петровны А. Сафоновым. Глубоко посаженные глаза, спокойные очертания носа и подбородка, приятное лицо.

Левитан находит чистую страницу, вынимает карандаш, задумывается. Софья Петровна играет «Патетическую сонату» Бетховена. В альбоме появляется ночной пейзаж. Группа безлистных деревьев, темный силуэт леса и серп луны, отражающейся в ручье. Альбом закрыт. Левитан глубже усаживается в кресло.

### ***ИСТОЧНИК СИЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ***

Левитан мечтал о Волге давно. Первое влечение к ней пробудили картины. Мальчиком он увидел огромные просторы волжского половодья и небесные дали на полотнах Саврасова. Его юную душу потряс трагизм репинских «Бурлаков» и захватила поэтичность пейзажей Федора Васильева.

Ранней весной 1887 года Левитан оказался на берегах Волги. Паводок долго не унимался. Река небывало разлилась, затопила прибрежные леса.

Много воды. Она кругом — серая, мрачная, давящая. А над всей этой водной поверхностью — небо, как жесткий железный панцирь, сквозь который, казалось, никогда не пробьется солнце.

Хмурая весна слилась с тяжелым настроением художника. Одиночество замораживало его душу, и жалобы, как стоны, слышались в каждом письме.

Через несколько лет такой же пасмурной весной Чехов ехал по Волге, отправляясь на Сахалин. Он писал как-то сестре: «Левитану нельзя жить на Волге. Она кладет на душу мрачность».

Это было верно для первой весны, проведенной художником на Волге.

В Нижнем Новгороде Левитан сел на пароход и поехал вниз по реке. Останавливался там, где понравится.

Васильсурск оказался первым городком, заинтересовавшим художника. И действительно, это было благодарное место для живописцев.

Здесь поселится потом на даче Максим Горький и, приглашая к себе в гости Чехова, так скажет об этом местечке: «Живу в городе Васильсурске, Нижегородской губернии. Если б Вы знали, как чудесно здесь! Большая красота — широко, свободно, дышится легко...» И вскоре художника Г. Ф. Ярцева он заманивал еще более энергично: «Дядя Гриша! Красок бери с собой по полпуду, не меньше. Полотна — версты. Картины здесь сами на полотно полезут...»

Левитан снял комнату в Васильсурске. Но и здесь весна никак не веселила, ненастье и дождь преследовали его. Он заскучал, да так, что разразился унылым письмом к Чехову:

«...Разочаровался я чрезвычайно. Ждал я Волги, как источника сильных художественных впечатлений, а взамен этого она показалась мне настолько тоскливой и мертвой, что у меня заныло сердце и явилась мысль: не уехать ли обратно? И в самом деле, представьте себе следующий непрерывный пейзаж: правый берег, нагорный, покрыт чахлыми кустарниками и, как лишаями, обрывами. Левый... сплошь залитые леса. И над всем этим серое небо и сильный ветер. Ну, просто смерть... Сижу и думаю: зачем я поехал? Не мог я разве дельно поработать под Москвой и... не чувствовать себя одиноким и с глаза на глаз с громадным водным пространством, которое просто убить может... Сейчас пошел дождь. Этого только не доставало!»

В такие дни, когда то и дело идет дождь, неуютно живет приезжему человеку. Все кажется неприятным: грязь, налипающая на сапоги, промозглый запах сырой одежды, влажный воздух нетопленной избы.

Ночью тоска подчиняла себе Левитана — он не спал. Мучили шумы

угрюмого ветра, монотонность дождевых капель. А за стеной мирно похрапывали две старушки хозяйки, и храп их тоже окрашивал в мрачные тона докучливую бессонницу.

Наутро он приходил с этюдником к реке и писал, писал, пока дождь не прогонял его домой. Но художник оказался не менее упрямым, чем природа. Постепенно ему открывалась суровая, мудрая краса Волги. Даже в единости серых оттенков он увидел такое многообразие, что серебристо-серая гамма стала преобладающей в этюдах первой волжской весны.

Левитан писал Чехову о своих сокровенных думах. Слова эти, сказанные после глубоко пережитого, могли бы стать эпиграфом ко всей жизни художника:

«...Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором — пускай! Они — благоразумие».

Это чувство, это прозрение возникло на Волге. Ее могучая сила укрепила любовь Левитана к природе. Но следом за этой любовью к природе шло страдание: художник отступал перед красотой вселенной. В том же письме он с горечью в этом признался: «Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения».

Он пишет без устали, не щадя себя, бросает на холст краски и в момент экстаза порой думает, что на сей раз кисть чутко воспроизвела симфонию его чувств. Но сеанс окончен, кисти спрятаны, давно исчезло в природе состояние, взволновавшее художника. Он один на один со своим холстом и видит, что снова не достиг желаемого. Какое горькое сознание! В руках мастихин. Долой все, что написано с таким напряжением, с такой надеждой! Он был неукротимо требователен к себе.

В Васильсурске художник писал разлив рек, безлистные деревья ранней весны, бурую землю, едва сбросившую снег. Его привлекали бескрайние пространства, залитые водой, небесная глубина.

Не задерживаясь долго на одном месте. Левитан снова отправился в путь. Его гнало вперед беспокойное состояние, жажда новых мест. На полотнах появились Жигулевские горы, а за ними — плоты. Первый сюжет, посвященный трудовой Волге. И хоть не видно плотовщиков, нет людей, в стужу и непогодь ютящихся в утлых шалашиках, в картине ощущается

присутствие волжского труженика.

После ярких красок Крыма на полотна хлынул серый цвет. Пасмурно на душе у художника. Он тянется к кистям в пасмурный день, передает грозовую нахмуренность реки, борьбу солнца с непроницаемостью туч.

Левитан писал Волгу и вечером. Он любил эту пору, когда день догорает и появляются новые, необычные краски, а масса мелочей, дробящих пейзаж, исчезает.

Художник начал картину «Вечер на Волге» полный раздумий и грусти, закончил ее следующим, более веселым и солнечным летом.

## **УЛЫБКА НА КАРТИНАХ**

При первом знакомстве с Волгой Левитан не увидел многих граней ее красоты, но она покорила его и казалась еще загадочней. Зимой художник продолжал жить волжскими впечатлениями, поэтому нетерпеливо ждал новой встречи с великой русской рекой.

Наступила весна, вскрылись реки. В газетах то и дело мелькали сообщения о прошедшем ледоходе. Разве тут усидишь дома?

Левитан поехал на этюды с постоянными спутниками — Софьей Петровной и Степановым, который был давним и очень близким другом Кувшинниковых.

Начали с путешествия по Оке. Приехали в Рязань. Но куда взять билеты? Сколько тут было смеха, веселых предложений! Кассир недоуменно поглядывал на пассажиров, которым все равно, куда ехать. Они читали по расписанию названия пристаней, гадая, где же лучше остановиться.

Какая-то женщина взяла билет до Чулково. Художникам понравилось это название, они тоже поехали туда.

Ярко светило солнце, оживала природа. Деревня Чулково издали показалась приветливой и живописной. Но местные жители встретили приезжих сурово, недоверчиво. За каждым шагом художников наблюдали. А когда они устроились писать этюды, и вовсе поднялся переполох. Крестьяне заподозрили в этом что-то недоброе, собрали сход, волновались, не лихие ли это люди, почему им вздумалось «списывать» их дома и поля.

Как мало изменились нравы! Восемнадцать лет назад Репин и Васильев попали в такую же смешную историю, когда ездили с этюдниками по Волге. В Ширяевом буераке их тоже приняли чуть ли не за мошенников и срочно отправили верхового искать писаря, так как некому

было прочитать удостоверения.

Художников такая обстановка начала угнетать. Они покинули Чулково и поехали искать на Волге место, более располагающее к творчеству. В Нижнем пересели на волжский пароход, идущий вверх.

Какое наслаждение, разложив вещи в каюте, выйти на палубу и бросать белым чайкам кусочки хлеба! Как легко дышится!

По берегам тянулись серые, печальные деревеньки. Нищета соломенных крыш. В солнечные дни так обнажено их убожество, так заливаает сердце острая жалость!

На высоком берегу — Городец. Местные пассажиры рассказывают, что здесь по пути из Золотой Орды скончался и был захоронен Александр Невский.

На берегу строились баржи, баркасы и парусные расшивы, украшенные деревянной резьбой.

К вечеру Волга казалась еще прекрасней. Алый диск солнца опустился в сиреневые облака. Бакенщик на лодке, заставленной желтыми и красными фонарями, отчалил от берега. Фонари отражались в серо-лиловой глади воды, и светлородый бакенщик походил на чародея.

Ночь. Мимо парохода тянется темная вереница плотов с красноватыми огнями костров, за ними крутой холм с темным силуэтом монастыря.

После Кинешмы левый берег Волги стал сучнеть, зато правый собрал все щедроты русской природы.

Леса тянулись теперь почти непрерывной грядой, изредка их пересекали овраги. Непроходимые чащи. Как хорошо бы тут побродить одному с ружьем за плечом!

Левитан и его спутники стояли на палубе, не отрывая глаз от берега. Вдруг все разом вскрикнули от неожиданности. Показался высокий зеленый холм, а на нем — темная деревянная церковка и возле нее кресты погоста.

Стариной повеяло от почерневших бревен, досок и острой крыши. Церковка возвышалась над огромным водным пространством, а от нее к реке уступами разметались дома какого-то селения.

Решение пришло мгновенно: вот здесь-то и надо остановиться. Узнали, скоро ли пристань и как она зовется. Капитан сказал, что пароход приближается к заштатному городу Плес и стоянка будет очень короткой.

Никто из троих ничего не слышал об этом городке, который теперь виден весь — гористый, со множеством церквей, зеленой набережной, солидными торговыми рядами.

Пароход подошел к пристани, матрос бросил чалку, положили сходни,

и сразу колокол дал первый звонок.

Художники вышли в толпе пассажиров. И здесь их оглядывали с удивлением. На пристань сходили купцы в картузах и чуйках, мастеровые с пещурами за плечами, мешанки с мешками, из которых раздавался пронзительный визг поросят, крестьяне в домотканых одеждах и лаптях.

Грузчики торопливо выносили ящики с товаром для городских лавок, мешки с зерном, тюки ситцев.

Мелькнет в толпе и чесучовый пиджак учителя, форменный мундир почтаря или черная ряса священника.

Группа художников резко выделялась на фоне плесских жителей. Смуглый, чернобородый Левитан, изящная Кувшинникова в широкополой шляпе, Степанов, сгибающийся под этюдником, мольбертом и складным стулом, тщательно изучались плесскими кумушками, сидевшими на лавочке против пристани.

Куда идти, где остановиться? Левитан, тоже едва поднимая связки холстов, этюдник, зонт и мольберт, шел, не отрывая глаз от околдовавшей его церковки. Он хотел поселиться поблизости от нее, ведь ему так нравились эти памятники старинной архитектуры! — казалось, что свое, русское, скорее всего найдешь в древности.

Пристанские грузчики быстро расхватили багаж приезжих и повели их по набережной. Шествие растянулось на несколько шагов и замыкалось толпой белоголовых мальчишек.

Красный кирпичный дом принадлежал Солодовникову, в нижнем этаже его располагалась мелочная лавка хозяина. Он охотно сдал необыкновенным постояльцам мезонин, хотя предупредил, что дом недостроен и наверху еще не очень хорошо настелены полы.

Но кто обращает внимание на какие-то неудобства, если в окно одной комнаты виден холм и на нем та самая темная церковь, которая теперь владела воображением. В окно другой глядела Волга и зеленый лесистый противоположный ее берег.

Красный дом стоял уже не в городе, а в Заречной слободе. Подходя к нему через мост маленькой реки, Левитан оглянулся направо и пригласил своих спутников посмотреть туда же.

Грузчики, привычные к красотам родного города, однако с гордостью сказали, что маленькая речка, бегущая по живописной долине, зовется Шохонкой, зеленая гора направо — Соборная, а налево — Петропавловская. Могли ли они предполагать, что ведут на квартиру человека, именем которого через много лет будет зваться эта гора?

Левитан почувствовал неповторимость и разноликость пейзажей

городка. Он улавливал красоту в природе так же чутко, как слушал музыку человек с абсолютным слухом.

Вскоре наступил вечер, которого Левитан ждал. Он поднялся с этюдником на гору к старой церковке. Все было залито золотисто-оранжевым светом заходящего солнца, но Левитану хотелось увидеть, как перед закатом вспыхнет последний солнечный луч. Он заранее подготовил рисунок, сделал подмалевок, чтобы не упустить короткий миг, которым солнце радуется человека перед тьмой.

Но то, что сделал багровый луч с силуэтом церкви, превзошло ожидания художника. Казалось, занялось зарево, и пламя металось в стеклах маленьких окон, обняло стены и остроконечную крышу, вспыхнуло на верхушке креста.

Даже учащенно билось сердце. Левитан писал словно в лихорадке, писал, позабыв обо всем, кроме этого пожара красок и своей палитры. Писал быстро, судорожно, со всем напряжением сил.

Волшебство начало исчезать, багряные краски темнели и, наконец, погасли. Перед художником был только темный силуэт церкви, кругом разливались сумеречные туманы. Лишь взглянув на свой воспаленный этюд, Левитан вновь увидел пережитое. Сеанс был очень коротким, но обессиливающим.

Художник только сейчас заметил стайку зареченских ребятишек, которые плотно обступили его.

Совсем рядом послышалась песня. Молодой сильный голос пел «Вечерний звон», а хор ему подтягивал. Левитан закрыл этюдник и пошел на песню. Зареченские парни и девушки сидели на траве возле запевалы — высокого темноголового юноши.

Песня уносилась под гору и стелилась далеко по реке. Левитан присел поодаль и заслушался.

Запевала умолк, заметив незнакомца. Но художник просил петь еще. Голос у юноши был такой сочный, мягкий...

Познакомились, в песне сдружились. С тех пор Гриша Задумов стал самым преданным поклонником Левитана, а художник все чаще заслушивался его звучным басом, прочил ему большую будущность, советовал ехать учиться.

Гриша был солистом церковного хора, учился сапожному делу, был беден, и мечты о консерватории остались несбыточными.

Теперь часто по вечерам Левитан писал этюды, а песня Задумова была рядом.

Юноша старался быть полезен художнику.

По какому-то капризу Софье Петровне захотелось посмотреть церковную службу в старом храме, который давно стоял на запоре, и легенды облепляли его подлинную историю. Говорили, что церковь ведет свою летопись чуть ли не со времен Ивана Грозного, что под массивной плитой с кольцами у притвора похоронены три наложницы жестокого царя, сосланные в слободу за строптивость.

Говорили разное, но давно уже не открывались красные ворота ее алтаря.

Пошли к старому священнику отцу Якову. Проводником и главным ходатаем был Гриша. Просили долго. Священник опасался, что ветхие стены могут не выдержать. Но потом поддался уговорам гостей.

Софья Петровна вспоминала о том, какое впечатление произвела на Левитана эта обедня в старом храме. Он любил в русской церковной службе ее хоровую музыку и театральную красоту обряда.

«Впечатление получилось, действительно, и сильное и трогательное. Отец Яков и какой-то, тоже старенький, точно заплесневевший и обросший мохом дьячок, удивительно гармонировали с ветхостью стен и темными, почерневшими ликами образов. Странно звучали удары старого, точно охрипшего маленького колокола, и глухо раздавались, точно призрачные молитвенные возгласы. Где-то вверху на карнизах удивленно ворковали голуби. Аромат ладана смешивался с запахом сырой затхлости, и огненные блики мистически мелькали на венчиках образов на иконостасе, а в довершение впечатления в углу появились вдруг три древние старухи, точно сошедшие с картины Нестерова. Их фигуры в черных платках и старинных темных сарафанах странно мелькали в голубоватых волнах ладана. Истово крестились они двуперстным знаменьем и клали низкие, глубокие поклоны. Потом я узнала, что эти женщины здесь же, в этой церкви, были когда-то венчаны и очень ее почитали. Левитан был тут же с нами, и вот, как только началась обедня, он вдруг, волнуясь, стал просить меня показать, как и куда ставят свечи, и, действительно, стал ставить их ко всем образам. И все время службы с взволнованным лицом стоял он подле нас и переживал охватившее его трепетное чувство...»

Левитан всегда и везде оставался художником, и ему захотелось написать этюд внутри церкви. К нему присоединилась и Софья Петровна. Это был один из тех редких случаев, когда учитель и ученица работали рядом. Обычно их большие голубоватые зонты виднелись в разных местах, и только после работы Левитан разбирал сделанное со всей строгостью придиричивого педагога.

Памятные часы. Тишина, в крошечные окна пробивается свет голубого



дня.

Левитан писал с удовольствием. Свободно и широко набросал он старинные иконы, ворота, расписанные ликами святых. Ему удалось точными прикосновениями кисти запечатлеть особую характерность старого дерева, темного, рыхлого, щелястого.

Кувшинниковой этюд тоже удался. Недаром зимой этого же года Третьяков приобрел у художницы ее работу — первую, удостоившуюся такой высокой чести.

Теперь этюды Левитана и Кувшинниковой лежат в одной витрине зала Третьяковской галереи, где собраны левитановские шедевры. А Чехов отозвался на это событие 25 декабря 1888 года таким теплым письмом к Кувшинниковой:

«...Поздравляю Вас с праздником и вступлением в ряды бессмертных. Ничего, что Ваша картина маленькая. Копейки тоже маленькие, но когда их много, они делают рубль. Каждая картина, взятая в галерею, и каждая порядочная книга, попавшая в библиотеку, как они малы ни были, служат великому делу — скоплению в стране богатств. Видите, во мне даже патриот заговорил!»

Скромному этюду с Петропавловской церкви в лучах заката суждено было сыграть большую роль в творчестве Левитана.

Интересная подробность. Куда бы вы ни приехали, где когда-то жил Левитан, вам расскажут, что именно здесь писались наиболее знаменитые его картины.

В Плесе так и было. Большинство шедевров, созданных в эти годы и принесших прочную славу пейзажисту, либо рождались по плесским этюдам, либо навеяны мотивами этого городка. Мало кто из старожилов Плеса помнит Левитана. Но такие еще есть. Воспоминания их отличаются уверенностью, закрепленной годами рассказов.

Мы сидим со старым волжским капитаном Александром Васильевичем Тимофеевым.

— Я Левитана знал, видел его, сидел около него, когда он писал картину «Над вечным покоем».

Речь шла об этюде Петропавловской церкви в лучах заката.

Слагаются даже легенды, похожие на анекдот. Плесчанка Молчанова вспоминала, что ее отец — священник Павел — давал Левитану ключи от церкви и он забирался на колокольню, чтобы оттуда писать ту же картину «Над вечным покоем». Так объяснялась точка зрения художника, как бы смотрящего на воду сверху.

Мы попытались разобраться в хронологии, и выяснилось, что отцу

Павлу в годы, когда здесь жил Левитан, было не больше двенадцати лет.

Но рассказ этот укоренился и подтверждает все то же большое желание плесчан видеть свой родной город колыбелью прославленных картин Левитана.

Не все из этих легенд лишены основания. Город Плес участвовал в создании этой картины. Даже сейчас, когда вы заберетесь на гору, носящую имя Левитана, многое станет ясным.

Старой церковки давно нет. Она сгорела в 1903 году, когда зареченские мальчишки дымом выгоняли из-под ее крыши голубей. Остались заросшие травой камни фундамента, остатки столбиков от ворот и ушедшие в землю могилы с покосившимися крестами.

Но зато ясно, что именно здесь у Левитана возникла идея его картины. С горы расстилается широкая панорама реки, рядом — старый деревенский погост. Сколько раз художник встречал здесь утреннюю зарю и провожал солнце!

Тут он думал. Но додумать картину и дописать ее смог только в более тихом месте, которое потом нашел на озере Удомля в Тверской губернии.

И как многие полотна художник привозил с собой дописывать в Плес, так и отсюда, кроме основной мысли, увез еще этюд деревянной церковки, которую поместил потом в картине «Над вечным покоем».

Поэтому плесчане вправе называть свой город родословной и этого произведения.

Мог ли Левитан написать такую картину целиком в Плесе? Нет. На озерах он нашел огромный водный простор и покой одиночества. Затерянный на островке погост, огонек, мерцающий в церковке, а кругом — безлюдье.

В Плесе — оживленная, веселая Волга с баржами, пароходами, лодками. Серковая слобода с ее трудовой жизнью на левом берегу. Церковка и кладбище, а в двух шагах от них разбросанная по холмам Заречная слобода, населенная кустарями и умельцами, песенниками и озорниками.

Нет, в Плесе нельзя было написать этой трагической картины.

Красота города поддерживала Левитана в непрерывном состоянии озаренности. Он вставал очень рано, до солнца. В охотничьих сапогах, в обычной холщовой блузе, с этюдником через плечо этот человек шел по пустынному, сонному городу. В калитках домов показывались лишь заспанные женщины, выгонявшие коров в стадо. Рожок пастуха заставлял художника далеко от дома. Он любил эти сизоватые туманы раннего утра, когда противоположный берег заволакивает легкая пелена, а по воде

стелется прозрачная дымка.

Часто Левитан уходил по утрам в более дальние походы, и сапоги его оставляли темный след на траве, блестящей от росы. Долину Шохонки заволакивала клубистая дымка, и сквозь нее едва просвечивали очертания гор.

Дневные часы Левитан посвящал работе в комнате, по натурным наброскам создавал картины. Потрудившись у мольберта, вновь уходил с этюдником, хотя и не очень любил краски середины дня: все кажется тогда обесцвеченным высоко стоящим солнцем.

Но до полудня выдавались интересные сюжеты. Один уголок Плеса Левитан написал с таким напором чувств, с такой гибкостью кисти и точностью мазка, что поныне знатоки дивятся этому этюду. Можно и сейчас увидеть в натуре этот мотив. Другими стали дома, но общий характер улочки, цепляющейся за холмистый рельеф, сохранился.

Писался этюд как бы одним дыханием. Кисть уверенно резким ударом придавала характер и материальность круглому бревну, потемневшей доске, траве, крышам, залитым солнцем. Весь этот уголок города, вскарабкивающегося по горе, купается в щедром летнем солнце.

В полное неистовство приводила Левитана луна. Стоило ему выйти из калитки своего дома, чтобы попасть во власть ее колдовских чар. В эти вечера он бывал более нервозен, редко оставался дома и бродил по долине, когда большая розовая луна только поднималась за рекой.

Однажды в такую ночь Левитану не спалось, и он пошел на Соборную гору.

Бледно-голубые стволы молодых берез закругленной аллеей вели его вокруг горы. Луна царствовала над миром с той же властью, как днем им командовало солнце.

Левитан запомнил свет луны и на другое утро написал березовую аллею на Соборной горе, тонкие, хрупкие стволы, купающиеся в голубом воздухе. Ничего нет на холсте, кроме этих задумчивых берез при лунном свете. Но сколько в них передуманного той ночью, когда одинокий художник бродил по горе, а внизу лежал уснувший городок!..

Юные березки давно уже стали пожилыми деревьями. Но они так же прекрасны в лунную ночь. По пейзажу, написанному Левитаном, можно судить об их неумирающей красоте.

Приезд художников только в первые дни живо обсуждали плесские обыватели, встречаясь по утрам на базаре. Потом новизна события притупилась, и к москвичам привыкли.

Появились знакомые. Неподалеку жила семья Фомичевых. Дед был

крупным богачом, вел большую торговлю лесом, владел домами. Сын проживал нажитое отцом, кутил, изредка участвовал в операциях по сплаву леса. Жена и его две маленькие дочери подружились с Софьей Петровной. Сближала любовь к музыке: обе были пианистками, много играли в четыре руки. Музыка привела в дом Фомичевых и Левитана.

С самим Фомичевым, страстным охотником, Левитан быстро нашел общий язык. Охота в густых лесах показалась и ему заманчивой.

В конце июня Левитан поехал в Москву, пробыл там недолго. Степанов задержался. Оба привезли из Плеса этюды и поспешили их показать друзьям. С. С. Голоушев, врач, художник и критик, следивший за творчеством Левитана, пришел по первому зову, остался доволен осмотром работ и писал потом художнику Киселеву: «...Кое-где так хорошо схвачена природа, как раньше у него я еще не видал. И в манере стало меньше заученного левитановского».

Левитан вернулся в Плес с собакой Вестой и часто переезжал на ту сторону Волги к Фомичеву, который подолгу жил в своем лесном доме. Они вместе охотились. Софья Петровна ходила в мужском костюме, стрелять научилась еще в молодости, когда сопровождала на охоту отца. Была не менее азартной, чем Левитан. Оба они могли пробродить по лесам, не считая часов, от рассвета до вечера.

Однажды, собираясь на охоту за реку, Левитан и Кувшинникова ждали перевоза. Она сидела возле дома на завалинке, а Левитан бродил по берегу. Он был как-то особенно неспокоен в это утро, нервничал. Внезапно вскинул ружье и выстрелил в пролетающую чайку. Выстрел был метким, птица упала замертво.

Софья Петровна не могла скрыть досады, вспыхнула. Левитан огорчился:

— Да, да, это гадко. Я сам не знаю, зачем я это сделал. Это подло и гадко. Бросаю мой скверный поступок к вашим ногам и клянусь, что ничего подобного никогда больше не сделаю.

Но даже этот несколько театральный жест не смог растопить раздражения. На охоту не поехали, вернулись сердитые домой, а потом убитую чайку похоронили в лесу.

Через два дня на рассвете Левитан исчез, никого не предупредив. Он бродил с ружьем по лесам, вернулся с полным ягдташем и вновь обретенным спокойствием...

Имя Левитана было довольно широко известно. Но ему не вскружил голову этот успех. Он понимал: так писать могут многие художники. А где же то, что должно отличать его, левитановскую, кисть от других? Где тот

русский пейзаж, неповторимый и самобытный, ради которого он приехал на Волгу?

Когда что-то удавалось, работалось ровнее. Когда несколько дней подряд художник топтался на одном месте, он срывался, мрачнел, становился неприятен окружающим.

Уже двадцать восемь лет! Васильев умер в двадцать три, а в двадцать восемь и Лермонтов. Вера в свои силы гасла.

Кувшинникова умела возвращать Левитану спокойствие и веру в себя. Не эта ли чуткость, убеждение, что ему предстоит многое свершить, были основой их долгой дружбы?

В плесских этюдах художника стало появляться то неповторимое, что вскоре подняло его над всем!»! русскими пейзажистами. Недаром здесь часто говорят: «Левитан открыл Плес, Плес открыл Левитана».

Близилась осень, самая волнующая плесская пора. Осеннее убранство деревьев вызывало у Левитана состояние, похожее на экстаз.

При одном только взгляде на залитые оранжевыми красками леса он приходил в свое тревожное, взбудораженное состояние. Его даже как-то лихорадило в такие дни. И не надо было измерять температуру или пить порошки — это была дрожь восхищения и нетерпеливой потребности побыстрее перенести на холст свои чувства, возбужденные осенним половодьем красок.

Мы знаем множество картин, этюдов, навеянных осенними мотивами. Он писал осень неистово и страстно, писал масляными красками, грубо, наотмашь, спеша лишь схватить основные соотношения, это золото, упавшее на сумрак листвы, этот багрянец, неожиданно пламенеющий сквозь желтизну. Он писал осень акварелью, следя за самыми тончайшими переходами тонов; он писал осень пастелью, хрупкими мелками, которыми сложно передать переход одного оттенка в другой.

Левитан пропадал на Шохонке, которую насмешливые зареченские мастеровые прозвали Тараканихой за то, что она мелка и таракан ее свободно переползет.

Но была она речкой быстротекущей, и немало плотин устроили на ней владельцы мельниц. Одновременно мололи зерно и на Маутинской мельнице и на Кузнечихе, что стояла у омута, куда ребяташки бегали купаться; еще выше, у Церковенского оврага, тоже крутились жернова.

Художник слушал неторопливый шелест воды и писал свою «Осень. Мельница». Покоем веет от этого полотна, словно Левитан перенес в него всю ту тишину, какую вселял в каждого благодатный город Плес.

Осень напоминала о себе не только буйством красок. Часто хмурилось небо и сердилась Волга.

Один раз Левитан, гонимый дождем, возвращался на лодке из заволжских лесов. Неожиданно нахлынул ветер. Это произошло мгновенно, как только может быть на Волге. Река стала коричневой, налетел ураган, поднялись высокие волны, засверкала молния и озарила церквушку на горе. Лодку бросало как щепку, заливало волнами. Небо обрушилось ливнем, сильным, бившим по лицу и плечам.

Только благодаря опытности гребца Левитан благополучно добрался до берега.

Он вышел бледный, потрясенный, почувствовав себя в эти мгновения мелкой песчинкой, которой повелевает разбушевавшаяся стихия. Вернувшись домой, обсохнув и придя в себя, Левитан набросал рисунок, который назвал «Буря-дождь». На нем — тонкие стебли деревьев, клонящиеся под ветром и ливнем. Это первая мысль будущей картины, которую зрители увидели ровно десять лет спустя.

Левитан вернулся в Москву с большим запасом впечатлений, этюдов и разбуженных замыслов картин. Он еще не насытился Плесом и разлуку с ним почитал временной.

Когда Чехов посмотрел все, что привез Левитан, он удивился его неумоимости, расцветающему таланту и с одобрением сказал:

— Знаешь, на твоих картинах появилась улыбка.

Художники тоже спешили навестить Левитана. Кое-кто завидовал, а другие ждали от него нового слова в живописи. Волжские этюды привели многих в замешательство. Не верилось, что все они принадлежат кисти одного человека.

«Совершенно новыми приемами и большим мастерством поражали нас всех этюды и картины, что привозил в Москву Левитан с Волги», — вспоминал Нестеров.

Левитан не спешил показывать свои полотна. О редкой картине он мог сказать, что достиг в ней замысла.

Петербургская печать не заметила волжских работ Левитана. В «Русских ведомостях» В. Симов нашел хорошие слова только для одной из них. Он писал о «Пасмурном дне на Волге»: «...Серые тучи готовы подвинуться, и ветерок бороздит мелкой рябью поверхность реки. Картина прекрасно написана и выражает искренний интерес художника к своему сюжету».

Но Левитана не огорчала эта скупость отзывов печати. Он чувствовал: главные его волжские картины впереди.

## РОЖДЕНИЕ ЛЕВИТАНА

Левитан не был портретистом, редко работал в этом жанре. Известно только несколько его портретов, и среди них один — Софьи Петровны Кувшинниковой, написанный зимой 1888 года.

Художница изображена сидящей в кресле, на ней белое атласное платье с розовыми цветами у ворота. Левая рука затянута в желтоватую перчатку.

Большие, испытующие карие глаза. Темные вьющиеся волосы. Тонкая, стройная фигура. Лиф платья плотно обтягивает узкую талию, атлас струится мягкими складками до пола.

Такой она и была, эта даровитая женщина с лицом мулатки.

Уроки живописи, совместные поездки на этюды сдружили Кувшинникову и Левитана. У них было много общего: искусство, музыка, охота.

Софья Петровна полюбила Левитана. Никто еще не относился к нему так заботливо, и сердце его отозвалось на эту преданность.

Поддержка Кувшинниковой стала Левитану необходимой. Ложность его положения причиняла новые страдания. Но подошло лето, и он вновь приехал в Плес с Кувшинниковой и Степановым, стараясь заглушить голос совести в упорных трудах.

Был снят тот же мезонин, и жизнь маленького кружка художников быстро вошла в свою колею.

На улицах встречалось много знакомых, облепили их и подростки за зиму ребята. Девочки бегали «прихвостнями» за Софьей Петровной, тихо сидели поодаль, пока она работала.

Мальчишки льнули к Левитану. Он очень любил детей, всегда для них у него находилось доброе слово и полный карман конфет.

Ребята особенно зачастили к художнику, когда в мезонине поселился больной журавль. Левитан принес его с перебитой ногой из леса и теперь нежно выхаживал. Осенью журавль обосновался в московской квартире Кувшинниковой и неотступно ходил за ней.

Левитан звал ребят и для того, чтобы показать этюды, заполняющие стены его комнаты.

Второй год художник писал картину во дворе дома Солодовникова — старую деревянную кровлю, маленький сарайчик и траву, робко пробивающуюся сквозь камни.

Прохожие, заглядывая в калитку, дивились, чем могли заинтересовать

этого человека в белой полотняной блузе трухлявые бревна и истлевшие доски. А художник создавал одно из своих трогательных произведений, показал убожество обнаженной нищеты со всей силой правды, на которую было способно его сердце, и создал при этом одно из своих обаятельнейших по цвету полотен. Картину «Ветхий дворик» Левитан окончил только через год. Обычно он долго работал над своими холстами. Случалось даже, что начинал мотив в одном месте, а дописывать увозил в другое.

Березовая роща, освещенная солнцем, приглянулась Левитану еще в Бабкине. Но там дописать ее не пришлось. А молодые березки были так хороши в Плесе, на другом конце городка, неподалеку от кладбищенской церкви, называющейся Пустынкой. И художник пришел в плесскую березовую рощу с картиной, начатой в Бабкине.

Левитан умел языком красок рассказывать людям о горе и печали. Но он умел написать гимн надежды и молодости. К таким полотнам его талант стремился не менее часто, чем к поэзии сумерек и увядания, певцом которых его так назойливо провозглашали критики.

Одним жарким июньским утром Левитан вернулся без написанного этюда, но с букетом одуванчиков. Желтые лепестки уже опали, и оставалось лишь легкое оперение этих неприметных цветов. Сколько ног затаптывало их при дороге! А художник поднял их и бережно принес домой, боясь дышать, чтобы не сдуть пушок. Он очаровался самым хрупким, беззащитным и поруганным созданием и проникся к нему участием.

А потом написал букет одуванчиков в простой глиняной крынке. Всю нежность вложил Левитан в эти зыбкие стебельки и легкий ореол, могущий через минуту осыпаться.

В другой раз Левитан принес пучок лесных фиалок с незабудками. И написал их так, что вы словно ощущаете острый, терпкий запах фиалок и сырость влажных стеблей незабудок.

Скромные полевые цветы! Им отдал художник сердце, кистью доказывая: красота не в барских розариях, она рядом с нами.

В одной из своих прогулок по заречным лесам Левитан набрел на полянку, усеянную пеньками. Здесь был недавно лес. Вокруг поднимался молодой ельник. Пахло дымком. На полянке расположился табор цыган. Белые шатры среди зеленых елок. Рядом — распряженные телеги, поодаль пасутся кони.

Вокруг бегают смуглые, черноволосые ребяташки, группами сидят на зеленой траве.



С детства любимые строчки пушкинской поэмы пришли на ум. До позднего вечера пробыл художник у гостеприимного костра. Он слушал рассказы цыган об их бродяжьей жизни, смотрел на пляски маленьких гибких девочек, на их полные грусти глаза.

Тут же сидели молодые матери и кормили грудью малышей. Как трогательны были их розовые ладошки, ступни босых ног, как непринужденно они лежали на коленях!

Темнеет, пора возвращаться домой, а так не хочется уходить от костра, который теперь ярко озарял темное лицо молодого цыгана в розовой рубашке, агатовые глаза и черные спутанные волосы! Пламя освещало его снизу, и он казался словно высеченным из темного дерева на фоне фиолетового неба.

С тех пор Левитан часто заходил к своим новым знакомым. Но когда однажды он пришел с красками, маленьким узким холстиком и хотел написать табор с натуры, цыгане забеспокоились. Они даже готовы были сняться с полянки, свернуть шатры и покинуть насиженное место.

Пришлось прервать работу ради сохранения добрых отношений. Сцену в цыганском таборе Левитан дописывал по памяти. Эта картина не удалась, она случайна по композиции, так и осталась в мастерской художника. Только иногда Левитан ставил ее на мольберт, вновь мысленно переносясь в то хорошее лето, когда ему так легко дышалось. Вспоминался вечер у костра и пленившие его вольные люди.

В узкую щель двери подглядывают дети Фомичевых — Маша и Шура. С ними несколько любопытных девочек. Толкаясь, они оттягивают друг друга от щелки. Там, в высоком зале, у мольберта работает Левитан. Он не замечает возни возле двери и пишет большое полотно: широкую, вдаль уходящую Волгу, высокий холмистый берег и возле реки — дом под красной крышей, в котором он сейчас устроил свое ателье.

Девочки узнают этот дом. Он принадлежит двум хозяевам, Грошеву и Подгорному. В его-то половине художник и работает.

Чехов, проезжая позже по Волге, писал Кувшинниковой: «Видал Плес. Узнал я кладбищенскую церковь, видал дом с красной крышей...»

И сейчас можно увидеть на набережной высокий дом. Внешне здание не изменилось. По-прежнему его красная крыша покоится над белыми стенами, в которых черными провалами смотрятся окна. Эти темные глубокие впадины так характерны для старинных строений Плеса, у которых крыши далеко выдаются козырьком над стенами.

Мы входим в высокий зал школы. Он теперь не разделен на две

половины, как прежде. Пять окон от пола до потолка, узкие, закругленные, пропускают в зал много света. Здесь стоял мольберт Левитана. Тут написан его «Золотой Плес».

Невольный трепет охватывает вас при этой мысли. Вы находитесь в зале, стены которого, эти старые, добротные кирпичные стены, были немymi свидетелями творческих мук и радостей художника. В этих стенах на узкий продолговатый холст был нанесен первый набросок композиции, и каждый день в ней прибавлялась доля живых наблюдений.

Писалась эта картина очень своеобразно. На крошечной дощечке был сделан первый набросок с натуры. А потом художник по вечерам уходил на гору и находил точку, с которой ему были видны холм с пеньками и молодым кустарником, большой грошевский дом, высокая колокольня Зареченской церкви Варвары Великомученицы, за ней пятиглавье еще одного храма и бесконечная ровная гладь реки. Левитан наблюдал и даже заучивал краски, как учат наизусть стихи и сонаты.

Друзья с большой заинтересованностью относились ко всему, что теперь создавал Левитан, и о новом приеме его работы Виноградов той же осенью писал Хруслову:

«Левитан же мне нравится (особо по последним его вещам). Я слышал, что он писал картину там, в Плесе (закат), и писал следующим образом: ходил куда-то на гору каждый вечер и наблюдал закат, а днем писал дома картину по впечатлению, и так каждый вечер и день продолжалось. Любопытно очень, что из этого вышло. Это я слышал от В. Богданова, а он от Аладжалова».

Вечерняя пора. Не больше часа минуло после заката. Это состояние длится недолго, за ним быстро темнеет. Художник заменил этюд, в котором может быть много случайного, изучением. Потом переносил найденное в природе на холст.

Но не каждый вечер одарит таким спокойным закатом, когда краски неба почти сливаются с умиротворяющей поверхностью воды.

Ему нужно было тихое раздумье, а не взбудораженность чувств, не буря, а штиль. Он ждал терпеливо, когда ураган красок растворится в розовой дымке, на землю спадет торжественная тишина, а река подернется у берегов пеленой тумана, сольется в мягком созвучии розовато-желтых тонов с небом.

Если вы подниметесь сейчас на один из холмов, откуда открывается панорама, полюбившаяся Левитану, то так и не найдете точки, с которой написана картина. И не только потому, что десятки минувших лет изменили эти места. Выросли, похорошели ели. Холмы оделись лесами. Нет, это

происходит по другой причине. Левитан сочинял свои картины, и в этом их неотразимая сила. Но сочинял перед натурой, с глазу на глаз с природой, находя в ней то, что гармонировало его идеям. И хотя он был пейзажистом, он мог всегда повторить за великим Рембрандтом: «Когда я перестаю мыслить, я перестаю писать».

В середине прошлого века в обиход художников вошло слово «пленер». В переводе с французского это значит — открытый воздух, и пленер знаменует собой живопись вне мастерской, на улице, в поле.

Группа французских художников, борясь против окостенелого академизма, за реальную и правдивую живопись, выходила со своими мольбертами в леса, деревни или на берега рек. Это течение в живописи получило название «барбизонской школы», по имени деревни Барбизон, в окрестностях которой работали Добиньи, Тройон, Дюпре, Руссо и другие.

Знаменитые Курбе и Коро тоже искали мотивы в природе и делали этюды с натуры, а потом в мастерских превращали их в картины. Но и барбизонцы в выборе мотивов не ушли от влияний голландских художников, хоть их и разделяло почти два столетия.

Сезанн сетовал на то, что восприятие художника утомлено, обмануто воспоминанием об образах, уже виденных в музеях. «Мы больше не видим природы: мы видим вновь картины. Видеть создание бога!»

Вот это «создание бога» впервые увидел Александр Иванов — художник, которого Левитан боготворил. Иванов изучал живопись в музеях Италии, но после музея шел проверять полученные познания на природу. Начав писать на открытом воздухе, он сумел забыть музеи и увидеть природу в ее первозданной свежести.

Этот удивительный и не понятый своим временем художник первый дал миру живопись, передающую солнце с непосредственностью ребенка и мудростью ученого.

Импрессионисты писали свои картины только на природе, отражая в них впечатления от мимолетных состояний освещения. Само название «импрессионисты» в переводе значит «впечатленцы». Под влиянием открытий в области оптики они выбросили из своих этюдников все краски, кроме тех, которые соответствовали цветам солнечного спектра. Но они далеки были от «научного» построения картины и писали свои гимны солнцу вдохновенно. Клод Моне говорил, что он работает так же, как птица поет.

В пору, когда Левитан работал на Волге, голландский художник Ван-Гог писал пейзажи на юге Франции. В одном из писем он говорит: «Подчас

я работаю чрезмерно быстро. Недостаток ли это? Я ничего не могу поделывать! Так, одно полотно я написал в один сеанс. Вторично вернуться к нему было невозможно. Испортить его? Но к чему? Ведь я нарочно для этого вышел на улицу при полном мистрале. Разве мы не ищем скорее интенсивности переживания, нежели спокойствия мазка?»

Но вот Дега, художник, близкий к импрессионистам, работал иначе. Он, как говорили о нем, наблюдает, не рисуя, и рисует, не наблюдая.

Дега заклинает: «Не нужно писать с натуры». Он считал, что непостоянство освещения на воздухе мешает работе живописца. «Вы знаете, — говорил Дега, — ...если бы я был правительством, у меня была бы бригада жандармерии для надзора за людьми, делающими пейзажи с натуры. О, я не хочу ничьей смерти, но я, однако, согласился бы для начала пустить в ход дробь!»

Великий Домье не был так нетерпим к пленеристам и не помышлял стрелять в них дробью. Но сам с натуры тоже не рисовал. С ним был почти курьезный случай. Одно из воскресений он провел за городом у своих друзей. Увидев во дворе уток, он взял бумагу и карандаш: ему нужны были утки для рисунка, подготавливаемого к печати. Домье изрядно перепортил бумаги, но так и не нарисовал уток с натуры.

Вечером, когда хозяин поднялся в комнату Домье, он с изумлением увидел на столе готовый рисунок, в котором утки были нарисованы художником по памяти с большим чувством пластики и весьма реально.

У Левитана тоже был свой метод. Он работал и с натуры и по памяти. Он не подчинялся мимолетным явлениям природы, а добивался обобщенного образа, насыщая его своим чувством. Как Репин или Суриков, он упорно собирал натуральный материал для задуманной картины, над которой работал не «один сеанс», а порой долгие годы.

Создавая свои этюды-картины, Левитан постоянно писал на открытом воздухе, «советуясь с природой», и не боялся, что в него кто-нибудь пальнет дробью.

Левитан жил в Плесе, когда от скоротечной чахотки умер Николай Чехов.

Первое горе посетило семью Чеховых. Левитан был с ними мыслями и чувствами, его потрясла эта безвременная потеря.

Смерть товарища по искусству как-то насторожила Левитана. Он понял, что надо спешить, если намерен осуществить хотя бы долю своих надежд.

Для художника этим летом больше, чем когда-либо прежде, в картине стала иметь значение мягкая тональная живопись при рассеянном свете. Он

искал, как построить картину, чтобы с помощью перехода одного тона в другой передать пространство. Его занимало, как написать глубину неба, необъятность реки, уходящие горы.

Неутомимость Левитана вызывала всеобщее удивление. Осенью он вернулся в Москву с большим грузом: вез много готовых картин и превосходные этюды. Эту плодовитость отметил Голоушев в своей монографии и назвал Левитана «первым пейзажистом России».

Но пресса в Петербурге молчала, если не считать издевательских стишков, которые поместила «Петербургская газета». Что фельетонисту, скрывшемуся за подписью Боримир, до мук художника, его поисков и разочарований, находок и провалов! Эти упражнения стихоплета выдают лишь врага всего нового в искусстве, презирающего поэзию будней и правду на холстах.

### «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»

Сюжетец выбран нерушимый,  
Блины пустивши по воде.  
Скажите нам, художник, где  
Идет весною дождик «блинный»?

И не менее иронически еще четыре строки того же остряка:

Третьяков картину вашу  
Приобрел, а не отверг.  
Кто другой купил бы разве  
«После дождика в четверг»?

Петербургская пресса не обмолвилась больше ни словом о полотнах художника.

После такого приема в столице Левитан очень тревожится, как отнесутся к его последним поискам в Москве. Тревога его нашла отражение в письме к Поленову, одному из организаторов Передвижной выставки:

«...Я предоставляю Вам, если, конечно, позволите, право поставить мои картины, где найдете их удобнее, но просил бы иметь в виду, что они писаны не в сильном свете, и потому мне кажется, что их выгоднее было бы

поставить не в сильный свет и никак уж не у окон... Я прошу об этих картинах не потому, конечно, что я дорожу ими или жажду успеха, — нет, но окончательный неуспех их и в Москве докажет мне ошибочность той теории, в силу которой они были сработаны».

Московские критики заметили волжские картины Левитана. Они пленились их колоритом и поэтическим чувством, отдали должное зреющему таланту, мастерству.

Но, помимо этих скупых газетных строк, к Левитану уже стекалась любовь и нежность многих посетителей выставки.

Осенью Поленова не было в Москве, он жил за границей. Левитану очень хотелось показать ему свои работы. Он зашел к его жене, пригласил ее в свою новую мастерскую.

Да, у него было, наконец, настоящее ателье, с верхним светом, окнами, выходящими на север. Он мог работать, не проклиная маленьких окон, мог отходить от мольберта и видеть картины на большом расстоянии.

Мастерскую на льготных условиях уступил Левитану С. Т. Морозов, фабрикант и меценат, который брал уроки живописи у художника и стал горячим покровителем его таланта.

Поленова писала мужу за границу в ноябре 1889 года: «Левитан как-то был у меня, довольно долго просидел, просил прийти посмотреть его работы. Вчера мы были с Лилей. Он работает в мастерской у Сергея Тимофеевича. Чудная мастерская, и сам Левитан шагнул громадно за это лето. Работает страшно много и интересно».

Еще не раз успех прильнет и отхлынет, окрылит или опечалит. Но плоды второго лета, проведенного в Плесе, принесли Левитану славу устойчивую и заслуженную.

## ***ОНИ ШЛИ РЯДОМ***

В двадцать лет Михаил Нестеров написал автопортрет: лицо встревоженное, полный ожидания взгляд, черты острые, жестковатые, выдающие решительность характера.

Левитан узнал такого Нестерова еще в Училище. Он был смолоду человеком непреклонных взглядов, преданным искусству.

Они стали друзьями. И хотя трудно найти две более несхожие натуры, молодые люди этого не замечали. Не всегда ведь дружба в полной гармонии, иногда ее питает интерес к противоположности характеров.

Резкий в суждениях, фанатично религиозный Нестеров. Мягкий,

впечатлительный, убежденный атеист Левитан. Чехов сказал о нем как-то писателю П. Сергеевко: «Он ни во что не верил, — в тамошнее...» Что общего было между друзьями? Любовь к искусству.

В разное время они едут за границу, посещают Всемирную выставку в Париже. Нестеров приезжает, покоренный мистиком Пюви де Шаванном. Левитан не находит слов, чтобы выразить свое отвращение к этому художнику. Но они не поссорились, умея уважать убеждения друг друга.

Долго каждый из них искал свой путь в искусстве. В 1889 году Левитан по волжским впечатлениям написал картины, говорящие о растущей самобытности.

В этом же году Нестеров показал первую картину на Передвижной выставке. Это был «Пустынник», и с нею начинается своя тропа в творчество Нестерова.

Позади остались жанровые сценки, которые писали многие, исторические картины, в них тоже голос художника не отличался от других. Пробы в портретах — заявка на большое и славное будущее. Наконец картины религиозных сюжетов, в которых найден свой стиль.

Встречались товарищи редко, урывками. Нестеров уезжал учиться в Академию, вернулся в Московское училище, когда Левитан его окончил, часто гостил у родных в Уфе. Но чем реже встречи, тем они желаннее, насыщенной.

В новую светлую мастерскую Левитана пришел П. М. Третьяков. Он смотрел здесь «Золотой Плес» и «После дождя». Купил обе картины еще перед тем, как их увидели на выставке.

Левитан спешит поделиться с друзьями тем, что фортуна, наконец, повернулась и к нему. Он вбегает в номер гостиницы, где остановился приехавший из Уфы Нестеров. Но ничего не успел рассказать взволнованный художник. Поеме первых слов приветства он засмотрелся на картину, которую Нестеров тоже привез на выставку. Перед ним было «Видение отроку Варфоломею».

Левитан смотрит на озаренное верой лицо отрока, его сжатые в священном трепете руки, на нимб вокруг головы старца и сказочно русский пейзаж с холмистыми полями, стогами и старинной деревянной церковкой, так похожей на ту, что он сам недавно писал в Плесе.

Он долго молчал, забыв о присутствии автора картины, весь отдаваясь чувству ее новизны. Потом сказал скупно:

— Картина хороша, успех будет.

И меньше всего, конечно, Левитан отдал своих чувств отроку, остолбеневшему перед старцем с сиянием святого. Его захватил

расстилавшийся перед ним осенний русский пейзаж, написанный так искренне.

Вот где они больше всего сходились, таких два разных человека, — в восприятии и передаче природы.

Новое произведение Нестерова встретило разноречивые оценки. Третьякову оно понравилось, и он приобрел его еще до открытия выставки.

Резко и справедливо осудил картину В. В. Стасов. Он писал: «Только одному из новоприбывших я не могу симпатизировать — это Нестерову. Еще не в том беда, что он вечно все рисует скиты, схимников и монашескую жизнь и дела, это куда бы ни шло: что ж, когда у него такое призвание; но в том беда, что все это он рисует притворно, лже-наивно, как-то по-фарисейски, напуская на себя какую-то неестественную деревянность в линиях, фигурах, пейзажах и красках, что-то мертвенное и мумиеобразное...»

Но отталкиваясь от нестеровской религиозной тональности, Левитан не мог полностью избежать ее влияния. Один раз его кисть пошла за елейной смиренностью, которая исходила от картин Нестерова. Только один раз...

## **У СЕБЯ И В ГОСТЯХ**

Подобно тому как родословную человека мы узнаем из биографии его предков, родословную художника мы читаем в творчестве его предшественников.

Давно миновали времена, когда молодым художникам в Академии на получение золотой медали предлагалось такое задание:

«Оливковое дерево, на котором повешены кирасы, сумы и другие военные знаки с именем на оных Ее Величества, под оным несколько военных людей и пастухов с пастушками, играющих на их инструментах и веселящихся, украшенное солнечным сиянием, лесом, полями и ручьями».

Русские пейзажисты прошли и через другой этап, когда красота в природе мнилась им лишь в солнечной Италии, под лазурным небом, у пенящихся морских волн. Только изобильная роскошь вечнозеленых деревьев в заморских странах привлекала их кисть. Рядом лежащие поля, леса и реки скорбной родины не казались достойными для изображения.

Осталась позади и эта пора, когда красота была лишь предметом импорта.

Пришло время, когда на полотнах художников появились родные луга



и пашни, березы и ели, серые избы и белые хаты.

Первенство в создании русского пейзажа принадлежит не пейзажистам, а литераторам. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев опередили живописцев.

Художники опрокинули академических кумиров и также воспели не замки и парки, а пашни и хижины, не вечнозеленые оливы, а желтеющие клены. Когда-то скульптор Антокольский назвал пейзаж пассивным искусством. Но это заблуждение. Пейзажи Шишкина, Васильева, Куинджи, Саврасова, Поленова учили любить свою страну. Поэтому пейзажисты стояли в одном боевом строю с Крамским, Репиным, Суриковым, Верещагиным, Ярошенко, Маковским и, кстати, с Антокольским.

Левитан изучал своих предшественников и соратников, как изучал Добролюбова, и знал их, как знал наизусть Пушкина или Никитина.

Саврасов, понимая силу таланта Левитана, передал ему факел русского искусства правды. Но Саврасов же предостерегал молодого Левитана и от национальной ограниченности. Он настоятельно советовал ему внимательней и серьезней присмотреться к Коро, разделяя сам его многие взгляды на живопись.

Сергей Михайлович Третьяков в отличие от брата собирал только картины западных художников, и у него были чудесные полотна Коро.

Левитану посчастливилось получить заказ на копии с картин французского художника. И, следуя кистью за каждым мазком Коро, он вдумчиво и напряженно познавал волшебство его живописи.

Теперь Левитан хотел узнать о французском маэстро больше, чем могли рассказать несколько полотен галереи. Он раскрыл книги. В одной была подробно рассказана жизнь Коро, как рождалось его искусство, печаталось много новых репродукций. Но книга Руже Милле была на французском языке. Познаний, полученных в детстве на уроках отца, оказалось недостаточно. Нетерпеливое желание ближе узнать полюбившегося ему художника вынудило Левитана серьезно вернуться к изучению языка. Он берет уроки у своей престарелой хозяйки, которая сдавала ему комнатенку в Уланском переулке.

Хорошая память Левитана помогает ему быстро преуспеть в языке, и вот книга Руже Милле прочитана от корки до корки.

Ему нравится все в облике Коро. И то, что он вставал чуть свет и шел в лес или к озеру, если было лето, к мольберту в свою скромную мансарду, если была зима. Он ел, не выпуская из рук кистей, и на все попытки родителей женить его весело замечал, что не может же он изменить музе, с которой уже давно повенчан судьбой.

Нравилось Левитану и то, что Коро считал для себя важнейшим в живописи: искренность и глубину настроений. «Добивайтесь того, — советовал Коро, — чего вам не хватает. Работайте, усовершенствуйте форму: ваша живопись от этого только выиграет, но прежде всего следуйте вашему чутью и непосредственному впечатлению; будьте сознательны и искренни...»

Как это все было похоже на то, что говорил Саврасов! Но Саврасов, пожалуй, ошибся как педагог, когда, теряя силы, отослал Левитана к Коро.

Сам Коро сознавал, что краски даются ему с трудом, что природа не наградила его даром колориста. Он строил свою живопись на тональных отношениях больших силуэтов, тончайших градациях тонов от темного к светлому. Вот этой-то так называемой валерной живописью и начинает увлекаться Левитан. Он стремится писать при ровном рассеянном свете, приглушая свет, а порой ищет туманов, которыми так славился Коро. Одна картина так и называется: «Осеннее утро. Туман». Она писана в Плесе.

Дело не в туманах, а в том, что Левитана природа не обделила живописным талантом, и порой краски, рожденные чувством, он рассудочно глушил во имя системы, совершенно чуждой его дарованию. Все время шла борьба: то на этюде появлялись буйные солнечные краски, когда верх брала природа, то вдруг, когда верх брала «система», обычно не на воздухе, а в мастерской, краски обуздывались и цвет превращался в тон.

Так на какое-то время «валеры» окутывают Левитана, а Коро занимает место в его родословной.

Ранней весной 1890 года Левитан впервые поехал за границу. В Париже он застал Всемирную выставку. «Впечатлений чертова куча! — пишет он Чехову. — Чудесного масса в искусстве здесь, но также и масса крайне психопатического, что, несомненно, должно было появиться от этой крайней пресыщенности, что чувствуется во всем. Отсюда и происходит, что французы восхищаются тем, что для здорового человека с здоровой головой и ясным мышлением представляется безумием. Например, здесь есть художник Пюви де Шаванн, которому поклоняются и которого боготворят, а это такая мерзость, что трудно даже себе представить. Старые мастера трогательны до слез. Вот где величие духа!»

Что же это за художник, который вызвал такую бурю возмущения Левитана?

Пюви де Шаванн известен как мастер огромных полотен, в которых сочетал оскопленный классицизм с откровенной мистикой. Его религиозные сюжеты, где святые, парящие в воздухе и вытянутые фигуры античных дев встречаются в одном полотне с вполне современными

персонажами, имели своих поклонников.

Понятно, что у Левитана, который исповедовал только один символ веры — правду, все эти выверты мистика вызывали лишь взрыв негодования.

На Всемирной выставке были полно представлены барбизонцы и особенно Коро. Левитан с наслаждением переходил от картины к картине. Он не мог оторвать глаз от рисунков Коро, поражающих своим ритмом.

Но вот что интересно: после этой встречи с холстами Коро в самом Париже «туманы» не сгущаются над Левитаном, а, напротив, начинают рассеиваться. Как будто только здесь, у холстов Коро, русский художник по-настоящему понял призыв француза к искренности, к тому, чтобы всегда оставаться самим собой.

Выставки и музеи Парижа Левитан сменил на Италию: хотелось отдохнуть. Была ранняя весна, и художник бродил со своим маленьким альбомчиком, занося в него наброски горных вершин и старинных итальянских домов. Ветка цветущего дерева сменялась видом развалин, а флорентийский собор располагался на соседнем листе с тонкими стволами юных деревьев.

Левитан писал и много этюдов. Один из них, «Весна в Италии», передает розовое облако цветущих деревьев маленькой деревушки, прилепившейся у подножья фиолетовых гор. Над всей этой прозрачной картиной пробуждения природы господствует снежная вершина Альп.

Позже Левитан подарил этот чудесный этюд Ермоловой в день ее юбилея. Он познакомился с великой русской актрисой в салоне Кувшинниковой.

В Италии Левитан тоже был захвачен маленькими сельскими хижинами у подножья грандиозных гор, миндаем, расцветающим возле серого каменного дома.

Жилось здесь как будто неплохо. И все-таки скорее хотелось ехать домой. А в Москве, как обычно, знакомые смотрели этюды. И тихонько от одного к другому пополз слухок: «Работы неудачны, Левитан выдыхается, успеха на выставке не будет».

В мастерской уже стояли на мольбертах начатые холсты по впечатлениям от поездки. Художник был полон желания трудиться, новые мысли теснили голову, захлестывали его. А слухок расползлся и дошел до Левитана. Находились даже такие «пророки», которые употребляли столь жестокие слова: «Левитан спел свою песенку и умер для русского пейзажа».

Хотя все это была неправда, желчный пасквиль завистников, Левитан

тяжко переживал свою мнимую неудачу. Шпицер рассказывал со слов сестры художника, что «равнодушные общества к его заграничным пейзажам совсем поразило художника, и он был сам не свой. Целые дни он угрюмо молчал, не мог найти себе места».

Мрачное настроение сгущалось. Чехов собирался в дальний путь — на Сахалин, и некому будет веселой шуткой отвлечь художника от тяжелых мыслей. Звал и Левитана с собой. Но разве бросишь сейчас все накопленное, что требует большого труда? Уехать в новые места — значит погубить полученные впечатления. И Левитан неохотно отказался сопровождать Чехова.

Художник в своих итальянских произведениях не сделал живописных открытий. Но он продолжал быть и в них Левитаном; только, может быть, «дедушка» Коро «остался» в Париже. Надо было побывать во Франции, чтобы избавиться от французских влияний.

На мольберте уже стоял пейзаж, сделанный пастелью по довольно тусклому быстрому масляному этюду. Это «Близ Бордигеры». Левитан нашел удивительную пластику в шершавых камнях дома, смелое сочетание тонов в зеленой траве и бирюзовых наличниках, легкость в брызгах цветущего миндаля. Всю эту немеркнущую свежесть цвета может дать только пастель, которой Левитан увлекся в эту пору.

Художник И. Остроухов позже писал о своем путешествии по Италии: «Нашумят, накричат, втиснут в вагон, звучное «Partensa» — и вы в Италии. Сразу тишина, бедные, бедные каменные коричневатые, серые домики у скал с черными отверстиями вместо окон, словно необитаемые. Все, все так красиво! И комбинации этой бедности и грусти с красотой и какой-то лаской удивительно трогательны.

Далекий колокол благовеста. Ave Maria усугубляют впечатление. Красивейшая и ласковая, бедная и грустная Ave Maria!.. Левитан чудесно выразил это настроение в своей Бордигере».

19 апреля 1890 года Левитан провожал Чехова на Сахалин. Ехал с писателем до Сергиевской лавры.

На вокзал опоздал доктор Кувшинников. Он примчался почти перед отходом поезда и повесил Антону Павловичу через плечо дорожную фляжку в кожаном чехле. В ней был коньяк, который доктор наказывал выпить только на берегу океана.

Чехов не нарушил обещания. Он писал Кувшинниковой, что ест удивительную икру, а «бутылка с коньяком будет раскупорена на берегу Великого океана».

Несколько месяцев о дорогом путешественнике напоминали только редкие письма. И почти не было ни одного, обращенного к сестре, в котором Антон Павлович не вспоминал бы о друге. Волга и Плес вызывают в его памяти «томного Левитана». Суровая, величественная природа Сибири возбуждает сожаление о том, что рядом нет художника. «И горы, и Енисей подарили меня такими ощущениями, которые сторицею вознаградили меня за все пережитые кувырколлегии и которые заставили меня обругать Левитана болваном за то, что он имел глупость не поехать со мной».

Эпитеты становятся все злее, а природа все самобытнее. Однако в каждом письме Чехов просит передать привет «красивому Левитану».

«Прогулка по Байкалу вышла чудная, во веки веков не забуду». И опять художник этого не видит: «Дорога лесная: направо лес, идущий на гору, налево лес, спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие скалы! Тон у Байкала нежный, теплый».

Левитан и сам, видимо, сожалел, что не поехал с Чеховым. Но сейчас он спешил после Парижа и Италии скорее опять в Плес. Туда, где наедине с природой приведет в порядок все мысли и впечатления.

## **ЛЕГЕНДА И БЫЛЬ**

Вторая половина дома, в котором Левитан устроил ателье, принадлежала плесскому купцу Грошеву. Он недавно женился на воспитаннице богатого фабриканта из соседнего поселка. Анна Александровна попала в душную семью старообрядцев-фанатиков, изнывала под гнетом жестокой свекрови. Молодой муж, с виду довольно приятный, женившийся по любви, тоже ничем не мог облегчить участь Анны.

Она тосковала, металась. В доме опекуна ей довелось получить кое-какое образование у гувернанток, приглашенных к его дочерям.

Анна тянулась к знаниям, любила читать. Но для свекрови книги — дьявольское наваждение.

В доме у Грошева была своя молельня. Он, сам истый старообрядец, требовал и от жены постов да поклонов перед иконами.

Грошева познакомилась с художниками, подружилась с Софьей Петровой.

Кувшинникова вспоминала об этой встрече:

«Судьбе угодно было впутать нас в семейную драму одной

симпатичной женщины-старообрядки. Мятущаяся ее душа изнывала под гнетом тяжелой семейной жизни, и, случайно познакомившись с нами, она нашла в нас отклик многому из того, что бродило в ее душе. Невольно мы очень сдружились, и, когда у этой женщины созрело решение уйти из семьи, нам пришлось целыми часами обсуждать с ней разные подробности, как это сделать. Видеться приходилось тайком по вечерам, и вот, бывало, я брожу с нею в подгородной рощице, а Левитан стережет нас на пригорке и в то же время любит тихой зарей, догорающей над городком».

В это лето с художниками приехал на этюды и С. Т. Морозов — сын фабриканта. Он пробовал силы в живописи, брал уроки у Левитана и, прослышав об изумительной природе Плеса, захотел там поработать.

Он принял близкое участие в судьбе Грошевой, вызвался помочь деньгами, нанял лошадей. Анна Александровна уехала из Плеса с Морозовым.

Для тихой жизни маленького городка с благовестом церковей под праздник и семенным домостроем поступок Анны Грошевой прозвучал как неожиданный взрыв.

Муж поехал в Москву урезонивать жену. Она отказалась вернуться. А судьба ее сложилась далеко не так блистательно, как это казалось.

История эта поросла быльем, и, пожалуй, в наши дни никто о ней не вспоминал, если бы писатель Северцев-Полилов в 1903 году не выпустил роман под названием «Развиватели» и не сделал участников бегства Дины Грошевой его героями.

Имена очень прозрачно изменены. Левитан зовется Львовским. Кувшинникова — Хрустальниковой. Морозов — Зиминым. Грошев — Полушкиным. Соответственно названы и другие действующие лиц.

Уже ироническим названием «Развиватели» писатель обвиняет художников в ложном просветительстве, в том, что они подговорили Грошеву бежать из дому, а потом бросили на произвол судьбы. Обвинение адресовалось и Левитану, через три года после его смерти.

При жизни художника писатель не отважился бы на такой пасквиль, а он даже осмелился посвятить свой роман Л. П. Чехову.

Северцев-Полилов был знаком с Левитаном, виделся с ним в Плесе и, конечно, знал, что одержимому работой художнику было не до побега Грошевой. Он был просто невольным свидетелем этой истории.

Северцев-Полилов подробно рассказал, как Левитан писал масляными красками портрет Анны Грошевой на фоне распустившихся кустов шиповника. И с тех пор как роман «Развиватели» зачитывался в Плесе до дыр, старики подтверждали, что Левитан действительно писал Грошеву, да

еще один портрет ее мужу, а другой — себе.

Где этот портрет, никто вам не скажет. Видимо, вымысел романиста перешел в жизнь, с годами стал выдаваться за быль.

В Плесе нам удалось найти фотографию Анны с мужем, снятую вскоре после свадьбы. Старинный снимок утратил свежесть, к тому же он был не пропечатан.

На нас пристально смотрят вопрошающие глаза. Их встревоженный взгляд выдает натуру мятежную, ищущую. Если к мягкому овалу круглого лица прибавить яркие краски молодости, то возникнет образ милой женщины.

В немногочисленной портретной галерее художника сохранился один рисунок, загадочно называющийся «Женский портрет». Сделан он в начале девяностых годов углем и подцвечен сангиной.

Портрет этот находится в Музее Художественного театра, но его авторство больше не приписывается Левитану, так как не удалось установить, кто послужил ему моделью. Но подпись художника на рисунке видна отчетливо.

Кто эта женщина?

Рисунок на первый взгляд кажется даже чужеродным в творчестве Левитана. Он изобразил очень печальную женщину в широкополой шляпе с вуалью, в пушистом темном боа, накинутом на плечи. Она позирует задумчиво, погруженная в свои печальные мысли.

Не Анна ли Грошева вдохновила Левитана на этот рисунок? Положим рядом пожелтевшую фотографию. Многие в юном лице напоминает эту женщину. Та же линия округлого лба, те же очертания бровей, мягко обрамляющих продолговатые светлые глаза, тот же юношеский овал лица, круглый нос и совсем еще детский подбородок.

Левитан мог нарисовать ее уже в Москве, она часто бывала у Кувшинниковой, в ее трагические дни, в годину невзгод, когда пылкие и радужные мечты ее разбились и жизнь предстала перед ней во всей суровой наготе.

Какими ненужными смотрятся эта дешевенькая меховая горжетка и шляпа, будто надетые с чужой женщины! Огромное горе излучает рисунок, так удавшийся Левитану.

Название «Женский портрет» мы не можем заменить с полным основанием другим — «Портрет А. А. Грошевой», но предположить, что это именно она сидела в глубокой задумчивости перед Левитаном, есть достаточно оснований.

Фантазия плесчан рождает и поныне разные небылицы. Все уже давно

забыли, о чем повествовал Северцев-Полилов. Однако вам расскажут, что Левитан влюбился в красавицу Грошеву, похитил ее и потом коварно бросил.

Так легенды сплетаются с былью.

## **ВДАЛИ ОТ ЖИТЕЙСКИХ БУРЬ**

В путевом альбоме Левитана виды Венецианского канала перемежались с записями волжских впечатлений. Веселый этюд итальянской весны летом 1890 года совершил путешествие в Плес; здесь по нему художник написал картину.

Но Италию настойчиво вытесняла Русь, и Волга навевала замыслы новых картин.

Пора освежить впечатления. Всплыли в памяти обрывистые песчаные берега возле Юрьевца. Несколько часов езды парохомом, и Левитан сходит по шатким, скрипучим мосткам на берег.

Город верст на пять раскинулся вдоль берега, а над городом — поросшие хвоей горы, между ними огромные, как пропасти, овраги.

Природа здесь суровее, чем в Плесе. Глухие, таинственные овраги овеяны страшными рассказами о колдуньях, приютах юродивых, чудодейственных свойствах родников.

Три года назад здесь побывал В. Короленко и в очерке описал затмение солнца, наблюдавшееся 7 августа 1887 года. Он увидел удивительную темноту юрьевцев, ожидавших чуть ли не конца мира и встретивших приезжих ученых-астрономов, как вредных еретиков.

Эти грустные наблюдения позволили писателю воскликнуть с горечью: «Сколько призрачных страхов носится еще в этих сумеречных туманах, так густо повисших над нашей святою Русью!..»

Левитан бродил по городу, богатому старинными церквями. Он поднимался в гору и карабкался по древнему валу, который многие столетия назад окаймлял Белый город, старинную крепость, воздвигнутую на неприступном высоком берегу. История, еще более древняя, чем плесская, листала перед ним свои увлекательные страницы.

Задумчивые, тихие пруды, когда-то бывшие крепостными рвами, немые свидетели старины.

Особенно нравился художнику один пруд, под крепостным валом. Он словно вышел из какой-то сказки. Длинный, ровный, неподвижный, закрытый плотной зеленой скатертью ряски. Солнечные лучи выхватывают



на ней яркие фисташковые пятна, а рядом лежат голубые тени сосен и елей.

Левитан запечатлел в этюде нижнюю часть юрьевецкого побережья. Называют этот этюд «В пасмурный день на Волге». И сейчас можно бы найти место, с которого художник его писал, если бы Большая Волга не разлилась широко в этих краях. Но нам удалось точно установить, что этот безымянный этюд написан в Юрьевце.

Лодки стоят у самой воды, и волна прибоя намывает на них песок. Вдали маленький буксир деловито пускает дым. Направо — строения под горой, вдали крутой извилистый подъем, ведущий к так называемому Белому городу. Кусочек жизни волжского городка, распорядок которого диктуется рекой, ее размеренной, неторопливой деятельностью.

Юрьевец привлек симпатии художника. Обворожил его один монастырь, расположенный в лесу на противоположном берегу около большого Кривого озера, во время весеннего половодья сливающегося с Волгой.

Дивные истории рассказывали Левитану о прошлом Кривоозерского монастыря.

Был такой странник родом из плесских крестьян — Симон Блаженный. Оставил он родной дом и пошел по деревням. Видали его среди нищих и убогих на церковных папертях. Появился он в Юрьевце и сразу стал совершать чудеса.

Сохранилась старинная тетрадь, в которой неизвестный летописец терпеливой славянской вязью вел реестр содеянных им чудес. Начиналась тетрадь с главного чуда. Один юрьевецкий житель будто видел Симона Блаженного шагающим по волжским водам яко по суху. Свидетель оного чуда клятвенно подтверждал, что Волга держала странника и была ему твердой опорой.

После такого чуда Симону Блаженному ничего не стоило стать пророком: он предсказывал, где вспыхнуть пожарам, кому умереть.

И поговаривали, пророчества сбывались: когда-нибудь вспыхивал пожар или кто-то умирал.

Так хитрого странника после смерти возвели в сан святых. В его честь воздвигли на горе храм, а на берегу Кривого озера — монастырь.

Левитан слушал эти легенды и все чаще переезжал на лодке к монастырю. Шел по узким хрупким лавам, бродил вокруг массивных башен. Он зарисовывал тяжеловесные колокольни, монахов, плывущих по реке.

Что так пленило художника в этом уединенном пристанище монахов?

Впервые он увидел монастырь в час заката, и его влекло сюда

воспоминание о другом монастыре, освещенном последними лучами солнца. Это было в Саввинской слободе. Еще тогда возникла неясная мысль о картине. Теперь уединенная от жизни обитель вызвала желание вернуться к этому сюжету. В альбоме появились первые эскизы.

По вечерам Левитан с берега слушал звон монастырских колоколов, напоминающий о тех, кто нашел успокоение, уйдя от мирских бурь в одинокие кельи.

Под благовест церковный рождался замысел картины, возникали эскизы, художник запасался натурным материалом. Иногда это набросок, почти чертежик с мостков, ведущих к монастырю. Он не обладает обаятельностью рисунка с натуры, но зато ясно переносит нас к тому времени, когда художник раскрыл альбом и зачертил в нем несколько линий. Черновая композиция будущей картины уже рисовалась в воображении.

Больше всего художнику запомнились лавы, переброшенные через озеро к монастырю. В них было много наивной прелести, но главное — они уводили глаз зрителя в глубь пространства, а это Левитан любил и всегда стремился к возможной глубине в картине. Лавы заняли центральное место и в цветном эскизе, который иногда ошибочно принимают за масляный этюд с натуры.

Захваченный мыслью о новой композиции, Левитан спешит обратно в Плес. И то, чего ему не хватало в Юрьевце, он дополнил наблюдениями на Соборной горе. Отсюда взял он для картины архитектурный церковный ансамбль с древней конической колоколенкой. И на этот раз картина возникала из многих наблюдений, набросков, сделанных в разных местах. Левитан писал с редкостным увлечением и упорством. Это почти никогда не случалось: картина нравилась самому.

Тишина, предвечернее умиротворение. У мостков, ведущих к тихой обители, обрывается суетный мир с его трагическим безвременьем. Восьмидесятые-девяностые годы прошлого столетия. Смелчаки, упрятанные за решетки, страдания родных, сдавленные голоса протеста. Души, попранные произволом, и души мятежные. Все остается на земле. Мостки, ведущие в монастырь, — граница, шлагбаум, за ними покой и нирвана, никаких тревог, сомнений, порывов.

«Тихая обитель» произвела огромное впечатление на выставке. Ее наперебой славили газеты, ею восхищались зрители.

А. Чехов писал сестре 16 марта 1891 года: «Был я на Передвижной выставке. Левитан празднует именины своей великолепной музы. Его картина производит фурор. По выставке чичеронствовал мне Григорович,

объясняя достоинства и недостатки всякой картины; от левитановского пейзажа он в восторге. Полонский находит, что мост слишком длинен; Плещеев видит разлад между названием картины и ее содержанием: «Помилуйте, называет это тихой обителью, а тут все жизнерадостно»... и т. д. Во всяком случае, успех у Левитана не из обыкновенных».

Возбужденный таким успехом, художник потом написал несколько измененный вариант картины, назвал «Вечерний звон», использовал свои наброски с монахов в лодках, сделанные там же на Кривом озере. Она экспонировалась в Русском отделе Чикагской всемирной выставки.

И вот люди, которые только что кричали, что Левитан для искусства уже кончился, начали кричать о том, что Левитан только еще начался. Находились даже его современники, которые считали, что до «Тихой обители» Левитан не выделялся из общей массы русских пейзажистов и только эта картина открыла перед всеми его несравненный дар.

Так думал Александр Бенуа-художник и критик, рафинированный вкус и субъективные оценки которого обычно делали его мнение спорным.

Бенуа придавал также непомерное значение для развития Левитана его первой поездке за границу, посещению Всемирной выставки в Париже.

Слов нет, художнику было очень важно увидеть своих собратьев по искусству в разных странах, узнать ярчайшие явления художественной культуры. Но нельзя забывать, что в Париж он уже ехал художником с большим практическим опытом. Никакого чудесного перевоплощения в Париже не произошло. Напротив, он отказался от теории Коро и стал писать искреннее и непосредственное. Колорит «Тихой обители» — свежий, чистый и красочный — ярко об этом свидетельствует.

Но А. Бенуа не отступал от своей точки зрения. Он утверждал:

«В первый раз Левитан обратил на себя внимание на Передвижной выставке 1891 года. Он выставил и раньше, и даже несколько лет, но тогда не отличался от других наших пейзажистов, от их общей, серой и вялой массы. Появление «Тихой обители» произвело, наоборот, удивительно яркое впечатление. Казалось, точно сняли ставни с окон, точно раскрыли их настежь и струя свежего, душистого воздуха хлынула в спертое выставочное зало».

Картины в Третьяковской галерее, созданные в конце восьмидесятых годов, были лучшим опровержением того, что летосчисление художника Левитана надо начинать с момента рождения «Тихой обители».

Живопись этой картины выгодно отличается от «валерной» манеры предыдущих работ. Сколько в мастерской Левитана лежало этюдов, напоенных красками солнца, которые не уступали по сочности «Обители»,

но художник никогда не показывал их на выставках.

Успех не бывает полным, крупица горечи всегда сопутствует ему. Такой крупницей была неожиданная выходка приятеля по Училищу Аладжалова.

Художник, не блещущий дарованием, он восполнял трудолюбием отсутствие таланта. Но успех товарища больно ранил. Аладжалов распустил слух, что Левитан для своей прославленной «Тихой обители» заимствовал у него сюжет.

Клевета быстро прилипает. Левитан нервничал, его оскорбляло подобное подозрение. Путь последней картины был очень сложен.

Художник всегда создавал произведения, насыщенные многими впечатлениями, зарисовками, этюдами. Природа так щедро обогащала фантазию, что Левитану смешно было обращаться к Аладжалову за вдохновением.

Много лет спустя Левитан с волнением вспоминал эту историю, даже в доказательство показывал фотографии, снятые им самим в Юрьевце с Кривоозерского монастыря.

Аладжалов бывал и в Плесе, он тоже познакомился с Фомичевыми и в сердцах даже подарил им свой этюд, с которого, как он считал, Левитан заимствовал мотив.

Мы держим в руках этот потемневший холст. Выставленный рядом с картиной Левитана, он мог в свое время служить четким опровержением клеветы. Темная масса леса, и в ней — церковка. Мотив, который на Волге встречался всюду, но что здесь хоть отдаленно напоминает картину?

Только мучительная ревность к восходящей славе Левитана могла породить столь беспочвенное обвинение.

Зрители рукоплескали художнику. Он слышал хвалу своему произведению, которое сам ценил. Все, кому хотелось спрятаться от тягот жизни, пленялись картиной тишины и уединения.

В тот же год, когда зрители уходили растроганными и умиленными от картины монашеского смирения, Репин на своей персональной выставке впервые показал вольнолюбивых «Запорожцев» и «Арест пропагандиста» — картины, зовущие к борьбе за свободу.

Какие мысли будила «Тихая обитель», дивная картина, чарующая знатоков свежим и ярким колоритом, мастерски передающая воздух, небо, облака, пленительную красоту тихого вечера с алыми лучами заходящего солнца?

С кем был художник? С теми перепуганными и усталыми, кто охотно скрылся бы в «тихой обители», или по эту сторону мостков, в бурной,

трудной жизни своей исстрадавшейся родины? Он ведь не мог писать такой насыщенный мыслями пейзаж, только увлекшись освещением заката.

Многое в картинах, созданных под церковный благовест, Левитан писал, поддаваясь успокоительным мелодиям «Вечернего звона». Частенько Кувшинникова читала вслух евангелие.

Дружба с религиозным Нестеровым, любовь к его аскетическому искусству, озаренному верой, тоже находила отзвук в чуткой душе Левитана. И этот человек, который яснее других понимал, в какой несправедливый век он живет, отдал свой несравненный дар прелестным картинам, в которых на первый план выползли идеалы приуставшего обывателя.

— Наше искусство должно не усыплять, а пробуждать, — говорил скульптор Антокольский.

«Вечерний звон» и «Тихая обитель» именно усыпляли. Кстати, вся Передвижная выставка этого года не отличалась высокой идейностью.

Левитан писал эту картину искренне, вдохновенно, убежденно. Он отдал ей лучшие силы души и таланта. Но с такой же искренностью, талантом и убежденностью через каких-нибудь два года художник напишет другое полотно, которое станет гордостью русского искусства, а художника сомкнет с несокрушимыми прогрессивными борцами за лучшее будущее человечества. Левитан напишет «Владимирку» теми же кистями, что и «Тихую обитель», с той же и даже большей силой вдохновения. Оба произведения создает один художник.

Но после варианта «Тихой обители» Левитан больше никогда не обращался к сюжетам, которые бы уводили от житейских бурь.

## **ДРУГ МОЛОДОСТИ**

Поленов был убежден, что «искусство должно давать счастье и радость». Своей долгой жизнью и творчеством он подтвердил, что девиз этот всегда вел его вперед.

Всем ученикам, которые прошли через его мастерскую в Училище или прильнули к нему потом, он внушал эту мысль, старался разбудить в них чувство цвета, любовь к светлому, отрадному колориту, к сюжетам, которые помогали бы людям переносить тяготы жизни.

Семья Поленовых была неистощимым источником бодрости для многих молодых художников. Они тянулись к ней, привлеченные мудрым талантом Поленова, его кровной заинтересованностью в том, чтобы все

подопечные шли своим путем и быстрее нашли его в искусстве. Сестра Поленова — Елена Дмитриевна — была одаренной художницей, ее акварели и иллюстрации пользовались успехом на выставках, печатались в книгах.

Жена Поленова — Наталия Васильевна — тоже занималась живописью, обладала большим вкусом.

В доме Поленовых все интересы подчинены искусству. Только оно одно занимало всех членов семьи.

В письме от жены Поленов прочитал такие приятные ему строки: «Меня ужасно радует та роль, которая тебе сложилась среди этой молодежи. Ты и наш дом для них центр света художественного, их тянет к нам, да, по-видимому, им это полезно».

Кроме больших художественных интересов, молодых привлекала и большая сердечность. Новая картина — сколько искренней, горячей заинтересованности в ее судьбе! Удачный этюд. Это — событие всей семьи.

И если Константин Коровин — талантливый, но взбалмошный — выбивается из рабочего настроения, Наталия Васильевна уже бьет тревогу, пишет мужу: «Костенька вообще производит сейчас неприятное впечатление: болтается, ничего не делает; просто хочется на него прикрикнуть, да я и прикрикиваю».

Но озадаченный Коровин не только слышит нотацию, он получит немедленную поддержку: ему помогут найти холст, посоветуют, как лучше построить панно, к нему отнесутся, как к родному сыну, неудачи которого огорчают, а взлеты вызывают чувство гордости.

И та же Наталия Васильевна спешит поделиться с сестрой Поленова большой личной радостью. Она пишет еще во времена молодости Левитана: «Я сейчас просто в восторге. Ученик Левитан принес свои этюды. Подобного, кажется, не видывали».

Появляется в доме незнакомый молодой художник. «Очень меня заинтересовал Виноградов, — пишет мужу Наталия Васильевна. — Это совсем юнец, из которого можно все сделать... Теперь он, к счастью, вышел из кружка, где его спаивали, и под влиянием Иванова».

Новый талантливый живописец попадает под поленовскую опеку. Не успеваешь присмотреть сам, всегда заменит жена или сестра.

А сколько общих волнений бывает в доме, когда молодые экспоненты отправляют свои картины на Передвижную в Питер!

Устроителем выставки едет Поленов. Все нетерпеливо ждут телеграммы с извещением о том, кто из молодых принят, чьи произведения получили мало голосов, отвергнуты.

До позднего вечера не покидают гостеприимного дома художники, нервно вздрагивая при каждом звонке у входной двери.

Наконец пришла долгожданная телеграмма. Облегченный вздох. Поленов радостно сообщает: все питомцы приняты. Они прыгают, резвятся, буйствуют, наполняя квартиру шумом молодости.

Еще большие волнения вызвала другая поездка Поленова в Петербург. Молодые экспоненты собирались стать полноправными членами товарищества. Выберут ли их?

В три часа ночи, вернувшись с бурного собрания, садится за письмо Поленов: Светославский, Остроухов, Левитан, Степанов и другие приняты общим собранием.

Левитан был на торжественном годовом обеде передвижников. А когда вернулся в Москву, поспешил поделиться радостью с Поленовым. Василий Дмитриевич оставался в Петербурге, и жена написала ему об этом посещении. Быстро пришел его отклик: «...Как мне приятно слышать про Левитана, что он в хорошем настроении, хочет работать и доволен тем, что был на обеде. И я остался доволен обедом и тем, что приняли так много молодежи. Действительно почувствовалась возможность обновления, какой-то молодостью повеяло...»

Много вдохновенных часов провел Левитан на знаменитых поленовских рисовальных вечерах. На них бывали друзья хозяина, старшее поколение художников: Репин, Суриков, В. Васнецов. Приходила и молодежь: братья Коровины, Виноградов, Врубель, Серов, Пастернак, Архипов и другие.

Собирались рисовать и по утрам в воскресенье. Е. Д. Поленова писала в 1889 году П. Д. Антиповой: «...Устраиваются акварельные утра, горячее участие будут принимать Левитан и Коровин, самые даровитые ученики здешней школы... Такие молодые, свежие, верующие в будущее. Новой и хорошей струйкой пахнуло от этого элемента».

Приглашали натуру, позировали по очереди и участники вечеров. Делали наброски пером, акварелью, кто любил — пастелью.

Не раз позировал и Левитан: то в костюме бедуина, то в чалме.

Поленов сделал два наброска — пером и акварелью. Быстрыми, уверенными штрихами нарисовал друга М. Несторов, карандашный рисунок оставил Виноградов.

Рисовальные вечера очень сближали, за чаем после трудов велись разговоры о самом животрепещущем в искусстве. Тут же разбирали работы, в дружеской обстановке, без тени неприязни. Очень полезно было молодым порисовать рядом с маститыми, хотя бы с таким виртуозным

рисовальщиком, как Репин.

Левитан старался не пропускать этих вечеров. Дом Поленовых, как и дом Чеховых, был для него родным. Он чувствовал к себе большую нежность, а главное — искреннюю заинтересованность в его творческом развитии.

Сам Поленов относился к Левитану с особой приязнью не только, как к своему многообещающему ученику. Он любил его восторженно, любил его красивую внешность и не раз усаживал позировать.

Удивительно хорош один портретный этюд! Написана только голова в белой шапочке и рука, подпирающая щеку. Модель получилась похожей. Спокойная поза, устремленный вдаль задумчивый взгляд. Лицо вылеплено уверенной кистью. Чувствуется: художник поработал с волнением.

Набросок этот — этюд для картины Поленова «На горе» («Мечты») и вошел в нее почти без изменений.

Но знакомый профиль бросается в глаза и на другой картине Поленова — «Христос и грешница». Принято считать, что и в этом холсте этюды с Левитана помогли Поленову создать центральный образ Христа.

Это отчасти верно. Какие-то черты Левитана можно найти в лице Христа. Но целиком его профиль послужил для создания типа араба, высокого, в белой шапочке, опирающегося на большой посох.

Можно сличить этюд, хранящийся сейчас в Поленовском музее, чтобы в этом убедиться. Здесь совпадение почти полно!

Нашел свое применение и набросок, сделанный с Левитана в костюме бедуина. Хотя сходство здесь и менее заметное, но общий характер головы в белом струящемся покрывале очень напоминает акварель, сделанную в тот вечер, когда позировал Левитан. Эти наброски, этюды разбудили более глубокий живописный интерес Поленова. Он все чаще с восхищением приглядывался к лицу Левитана. Какое оно изменчивое! То воодушевленное, пылающее, то потускневшее, задумчивое, даже страдальческое. Не уследишь за этими мгновенными переменами. И какое из этих выражений вернее характеризует талантливого пейзажиста?

Так постепенно у Поленова рождалась мысль о портрете. Он написал своего любимца в 1891 году, в год бурного успеха его пейзажей. Сам Поленов сообщал жене из Петербурга: «Дворик» Левитана производит общий восторг».

Раздумье, пристальный взгляд и очень покойная поза. Портрет поэтичен, резко выделяются белые руки с манжетами, воротничок и светлое лицо. Верный образ Левитана.



## **ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД ГРОЗОЙ**

Поездка оказалась очень веселой. В теплый майский день Левитан и Лика Мизинова — подруга Марии Павловны — задумали навестить Чеховых, живущих на даче в Алексине. Добираться туда не просто. От Серпухова они сели на пароход и проехали по Оке всю ночь.

Пароход тащился очень медленно. Однако путешественники не грустили.

Левитан был неистощимо любезен, остроумен. Лика смеялась, отвечая на его шутки.

В пути случайно познакомились с помещиком Былим-Колосовским, который ехал в свое имение Богимово. Узнав о том, что поблизости живет его любимый писатель, новый знакомый пригласил Лику, Левитана и Чеховых к себе в гости.

Вечером того же дня в Алексин прислали лошадей, и молодая компания поехала за двенадцать верст в Богимово.

Неожиданно все попали в старинное запущенное имение с огромным парком, липовыми аллеями. В доме были просторные комнаты, окна выходили в парк.

А вскоре Чехов писал Лике: «Мы оставляем эту дачу и переносим нашу резиденцию в верхний этаж дома Былим-Колосовского», «... в Богимово, где Вы были и стояли под навесом, когда шел дождь».

Левитан переехал на дачу к дяде Лики Мизиновой Н. П. Панафидину и поселился в маленьком деревянном домике из трех комнат неподалеку от самой усадьбы. Это местечко носило поэтичное название «Затишье», находилось вдали от дорожных шумов и веселой жизни большого дома Панафидиных.

Переписка этого лета между друзьями была наполнена шутками, поддразниваниями. Левитан подшучивал над чувствами Чехова к Лике, а он весело изображал свою ревнивую тревогу. Тон был взят уже в первом письме Левитана:

«Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где все, начиная с воздуха и кончая, прости господи, последней что ни на есть букашкой на земле, проникнуто ею, ею — божественной Ликой!

Ее еще пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, белобрысого, а меня, волканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе все это читать, но из любви к правде я не мог этого скрыть...»

И дальше все письма в том же юмористическом тоне, с такой же

колючей шуткой.

Шутит Левитан, отвечая на шутки Чехова, вносит свою веселую нотку в эту переписку и сама Лика.

Левитан приехал с Софьей Петровной. Степанова после шумного успеха его картины «Журавли летят» задержали в Москве заказы. Художник, по словам Лики, «мрачен и угрюм, и я часто вспоминаю, как Вы его называли Мавром».

Софья Петровна хорошо относится к Лике, приглашает ее в гости к себе, скучает, когда девушка долго не приходит. Но, шутит Лика в письме к Чехову, «ко мне близко он подойти не смеет, а вдвоем нас ни на минуту не оставляют».

Чехов приглашает Лику в Богимово, острит над ее вниманием к своему другу и шутливо заканчивает:

«...Кланяйтесь Левитану. Попросите его, чтобы он не писал в каждом письме о Вас. Во-первых, это с его стороны не великодушно, а, во-вторых, мне нет никакого дела до его счастья».

В доме Панафидиных очень бережно относились к Левитану, его покой не нарушался, несмотря на то, что летом здесь жила огромная семья, с детьми и внуками.

В Затишье никто без приглашения не шел, и к часам работы художника испытывали большое почтение. Но когда Левитан отдыхал, все старались его развлечь. Ходили вместе за грибами, в леса, а вечера отдавались музыке.

Софья Петровна играла в зале, и звуки доносились на террасу, где тихо сидел Левитан, погруженный в свои мысли.

Музыки в доме было много. Тем летом в имении жила родственница Панафидиных Наталия Баллас. У нее был низкий, сочный голос, она кончила консерваторию в Вене.

По вечерам Наташа иногда появлялась перед террасой с длинными светлыми распущенными волосами и начинала кричать по-совиному. Певица так умело подражала крику сов, что они слетались к дому.

Эта переключка с совами нравилась Левитану, особенно когда вся сцена происходила при ярком свете луны. Тогда она выглядела еще более таинственной, даже зловещей.

Гости все прибывали, становилось шумней. Но часы, посвященные работе, для Левитана нерушимы. Он покидал самое веселое общество и уходил один в поисках мотивов.

Природа в этих местах не очень пленяла Левитана. Он даже Чехову писал об этом разочаровании: «...выбрал я место не совсем удачно. В

первый мой проезд сюда мне все показалось здесь очень милым, а теперь совершенно обратное, хожу и удивляюсь, как могло все это понравиться. Сплошной я психопат!»

Но так было в ненастные дни. «С переменой погоды стало здесь интересней, явились довольно интересные мотивы».

В плохую погоду уютнее сидеть дома. Однажды Левитан прочитал вслух Софье Петровне и Лике — рассказ Чехова «Счастье». Он читал с наслаждением, вникая в каждое слово, читал с вдохновением. Впечатление было огромным.

Ведь для всех, кто слушал чтение, Чехов — близкий знакомый, с которым они часто встречались, шутили. А он вырос тем временем в огромного, мудрого писателя, рассказы его печатались в сборниках, имя произносилось на Руси с восхищением.

Левитан очень рано оценил глубину таланта Чехова и ждал от него больших свершений в литературе.

Он поспешил написать писателю об этом чтении, сдобрил, конечно, свое письмо порцией добродушной шутки: «Я вчера прочел этот рассказ вслух Софье Петровне и Лике, и они обе были в восторге. Замечаешь, какой я великодушный, читаю твои рассказы Лике и восторгаюсь! Вот где настоящая добродетель».

Но шутки отходят в сторону, и звучат слова, сказанные от самого сердца: «В предыдущие мрачные дни, когда охотно сиделось дома, я внимательно прочел еще раз твои «Пестрые рассказы» и «В сумерках», и ты поразил меня как пейзажист. Я не говорю о массе очень интересных мыслей, но пейзажи в них — это верх совершенства, например, в рассказе «Счастье» картины степи, курганов, овец поразительны».

Оценка эта была особенно дорога писателю — ведь она дана пейзажистом, который многие годы бился над тем, чтобы цветом выразить свои впечатления от природы. Чехов сделал это словами. И как много духовно близкого нашел Левитан хотя бы в этом описании степи:

«В синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось; сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничною степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они все еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой».

Мысли, выхваченные из недр души Левитана. Как часто, оставаясь

один на один с другом, он говорил ему о своей тоске, о ничтожестве человека перед спокойным бессмертием природы. И показалось, будто осколок собственной души присутствует в этом рассказе.

Близость! Оба стеснялись выражать ее внешне. И только нет-нет промелькнет в письме замаскированная нежность: «Целую тебя в кончик носа и слышу запах дичи. Фу, как глупо, совсем по-твоему».

Или мужская, суровая ласка: «Дай руку, слышишь, как крепко жму я ее».

Их тянет друг к другу, они хотели бы чаще видаться. То Чехов заманивает Левитана в Богимово, то художник обольщает его прелестями рыбной ловли: «Было бы крайне радостно видеть твою крокодилию физиономию у нас в Затишье. Рыбная ловля превосходная у нас: окуни, щуки и всякая тварь водная!» Но в Богимово Левитан во второй раз так и не собрался поехать: «затеяны вкусные работы».

Когда Левитан с Ликой были в Алексине, вечером они предавались обычным занятиям: Чехов импровизировал. Лика пела, Левитан читал стихи и среди них — свое любимое пушкинское: «В уме, подавленном тоской...»

Стихи продолжали звучать и после отъезда гостей, преследуя своей навязчивой мыслью. И Чехов просит прислать ему полный текст пушкинских стихов.

Левитан ответил и позже прочитал стихи в эпиграфе к XVII главе чеховской «Дуэли».

Интересная подробность: читаешь рассказы Чехова, следующие за годами знакомства с Левитаном, и очень часто чувствуешь в них его присутствие. Редко — это какая-то черта, похожая на Левитана. Скажем, внешний облик нотариуса в рассказе «Несчастье», где героиней — Софья Петровна.

Иногда это мысли, которые были предметом споров между Чеховым и Левитаном, а потом вложены писателем в уста его героев.

Особенно отчетливо это чувствуется в рассказе «Огни». Словно мы присутствуем при разговоре друзей, словно слышим глуховатый голос Левитана, печальные интонации его больной души. Словно только что произошел этот эпизод, когда Чехов с братьями пришел к Левитану в Максимовку и застал его после попытки к самоубийству.

Это именно его раздирают мысли о неизбежной и близкой смерти, о бренности всего живущего, о тоске, которая давит душу художника, заслоняя от него порой и радость молодости и радость самого бытия. А рассказ «Огни» как бы служит подтекстом к картине Левитана «Над

вечным покоем».

Так тесно сплелись творческие пути художника и писателя. В повести «Три года» Чехов приводит героиню Юлию Сергеевну на выставку передвижников, и явно левитановский пейзаж раскрывает ей тайну настоящего искусства.

Вы не найдете картины у Левитана, которая бы точно соответствовала чеховскому описанию. Но тонким чутьем художника он сумел рассказать о магическом действии его полотен.

И когда потом потрясшая Юлию Сергеевну картина появилась в ее гостиной, Чехов показал, как облагораживающе воздействует на человека истинно талантливое произведение — такое, которое напоминало хотя бы левитановский «Омут».

В нескольких верстах от Затишья было имение Берново, принадлежавшее баронессе Вульф. Левитан пришел как-то туда и заметил там старую плотину через реку. Его заинтересовал этот мотив. Баронесса Вульф рассказала ему трагическую легенду, передающуюся об этой тихой заводи из уст в уста.

Бывал тут Пушкин, он гостил в имении Малинники и там слышал рассказ о трагедии, происшедшей у заброшенной мельницы. У мельника была красавица дочь Наташа, а у деда баронессы Вульф — тоже очень красивый конюший. Молодые люди полюбили друг друга. Когда Наташа ждала ребенка, кто-то донес об этой тайной любви барину-деспоту. Он приказал конюшего засечь до полусмерти, а потом отправить на всю жизнь в солдаты.

Наташа с горя утопилась в этом омуте.

Драматическая история поруганной любви послужила Пушкину для создания «Русалки».

Левитан слушал эти рассказы, и заброшенная плотина облекалась для него мрачной поэтичностью. Его влекло сюда, к темным от времени толстым бревнам, к таящей тайну стоячей воде и глухому лесу.

Мысль о картине легла на бумаге в первом эскизе, сделанном тушью и сепией. По этому эскизу Левитан писал большой этюд с натуры. Но Берново далеко, и каждый день ходить туда с громоздким подрамником утомительно. Кувшинникова потом вспоминала:

«...целую неделю по утрам мы усаживались в тележку — Левитан на козлы, я на заднее сиденье — и везли этюд, точно икону, на мельницу, а потом так же обратно».

Картина затащила Левитана. К осени, когда Софья Петровна уехала, Левитан переселился в большой дом. Хозяева имения предоставили ему

для работы светлую столовую с пятью окнами. Там-то он и начал писать «У омута».

Иногда отрывался от картины и просил позировать для портрета хозяина дома Н. П. Панафидина. Он изобразил его сидящим в кресле со спокойно сложенными на коленях руками. Портрет, видимо, был похож на модель, родные его любили. Он долгие годы висел в столовой, и, как вспоминает Т. М. Смирнова-Панафидина, с самых детских лет она не могла представить этой комнаты без дедушки, сидящего в кресле.

Тем же летом Левитан написал и второй портрет Панафидина, во весь рост.

Это как бы благодарность за радушие, с каким встретили художника все члены семьи Панафидиных.

Основная работа над картиной началась уже в мастерской.

Тема волновала. Полусказочный сюжет переносил к тем дням, когда в этих темных водах потопила свое горе молодая женщина. Мысль о перенесенных ею страданиях окрашивала в мрачные тона и пейзаж. Лес казался художнику угрюмым, вода — маслянистой, гладкой, даже зловещей.

Настроение в картине создать удалось. Она была замечена на выставке, о ней много писали, отмечая поэтический дар художника. Картину купил Третьяков, несмотря на то, что Репин в письме к нему отозвался об этом произведении довольно резко. Он писал: «Левитана большая вещь («Омут») мне не нравится — для своего размера совсем не сделана. Общее недурно, но и только».

Замечание суровое, но не лишённое оснований.

Трагический случай, вдохновивший Левитана, придавал угрюмый колорит картине. Художник написал сгущающиеся сумерки. И, пожалуй, только верхушки деревьев на фоне сумрачного гаснущего неба переданы верно по цвету. Картина слишком перечернена. Черная краска так и остается краской, не став живым цветом.

Левитан отдал этому полотну много душевных сил, работал с большим упорством. Но он чувствовал, что вода еще не полностью ему удалась, он хотел бы ее видеть иной.

Желание художника доработать картину совпало и с просьбой Третьякова. Будущей весной Левитан писал коллекционеру:

«Не подумайте, что я забыл Вашу просьбу и мое собственное сознание исправить воду в моем «У омута». Я не решался переписывать его до той поры, пока не проверю этот мотив с натурой. Теперь напишу несколько этюдов воды и в конце мая приеду в Москву и начну переделывать

картину».

Трудно установить, исполнил ли художник свое обещание переделать картину. В том виде, в каком она предстает перед нами сейчас, хороший колорист найдет много поводов для разговоров о ее живописных недостатках. А вода по мастерству исполнения уступает небу. Это один из тех редких случаев, когда мысль художника, его настроение не слились воедино с совершенной колористической формой.

### **ЧЕХОВ В РОЛИ ПРОКУРОРА**

Маленький альбом Софьи Петровны обычно лежал в гостиной, и все посетители салона могли в него заглядывать. Кроме рисунков и стихов, несколько страниц альбома были исписаны размашистым, неразборчивым почерком. Это дневниковые записи Кувшинниковой, относящиеся к 1883 году.

Записи очень откровенные, и непонятно, почему они были доступны для всех. Софья Петровна подробно рассказывала о своей жизни в доме отца в маленьком сибирском городке, о бурном романе с одним человеком, сосланным за политическую деятельность. День за днем описывала она растущую нежность этого человека, жалкие письма его жены и свои большие чувства. По временам, казня себя, вспоминала о муже, разрешала неразрешимые вопросы о будущем и успокаивалась на том, что: «Мне, все-таки, лучше, еду к личности, как мой Дмитрий, который именно бескорыстно, отрешаясь от своего я, умел любить меня одиннадцать лет».

Она пишет о том, как в десять часов вечера приносят телеграмму от Кувшинникова, полную тревог об ее расстроенном здоровье.

Довольно часто бывая в гостиной, Чехов, конечно, не раз держал в руках этот альбом и читал последние страницы.

Не они ли дали ему отдаленный повод написать еще осенью 1886 года рассказ, в котором героиню звать Софьей Петровной, героя — сильного, громадного мужчину с черной бородой — Ильиным? В этом рассказе Чехов измену женщины мужу назвал коротким словом «Несчастье».

Дневник Софьи Петровны чувствуется и в другом шедевре Чехова — его «Попрыгунье».

Есть такие произведения, которые нельзя читать без содрогания. Страница за страницей показывает нам писателя одаренную женщину, эгоистку до мозга костей, помешанную на знаменитостях и не приметившую рядом с собой большого человека.

Чехов срывает покровы со своей героини, сохраняя ее внешнюю обаятельность, он высказывает ей резкое осуждение и делает виновницей гибели человека большой души.

Рассказ этот наделал много шума. Его несравненная талантливость была одной из причин быстрой популярности.

Но читатели захотели искать прототипы основных героев, и они быстро узнали в хорошенькой блондинке брюнетку Софью Петровну.

Чехов писал об этом Л. Д. Авиловой 29 апреля 1892 года: «Вчера я был в Москве, но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить, одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в двадцатилетней героине моей «Попрыгуньи»... и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником».

Чехов попробовал отшутиться. Конечно, рассказ был глубже и трагичнее того, что он наблюдал в жизни.

Софью Петровну он теперь заметно недолюбливал. Называл ее семидесятилетием соперницей Лики, стареющей Сафо, которую тогда с огромным успехом исполняла Ермолова в пьесе австрийского писателя Франца Грильпарцера. Распределял он и другие роли. Лику называл Мелитой и предрекал ей в будущем обольстить Фаона — Левитана.

Софья Петровна пыталась отмахнуться от осуждения своими взглядами на независимость женщины. В автобиографии она назвала это так: «Жизнь шла шумно, разнообразно, часто необычайно, вне всяких условностей».

Чехов очень близко подходил в описании героини «Попрыгуньи» к характеру Софьи Петровны.

Какие-то внешние черты и Левитана легли в основу образа художника Рябовского. Он говорит иногда слова, которые любил повторять Левитан, и Чехову они были хорошо знакомы.

Но если от Софьи Петровны очень многое перешло в образ молодой героини, то художника Чехов наделил только внешними чертами своего друга, оставив нетронутыми глубины его души.

Дымов несравненно больше Кувшинникова. Но благородство, высокая человечность скромного врача, его преданность профессии и честное служение долгу дали повод для создания прекрасного образа талантливого ученого, беззаветного целителя человеческих недугов — Дымова.

В «Попрыгунье» врач противопоставлен актерам, музыкантам, художникам. Чехова давно волновала мысль о том, что знаменитостью может стать любая опереточная певичка, а кто построил, скажем, мост,



никто никогда не узнает. И Чехов создал образ человека, который делает добро людям без аплодисментов.

«Попрыгунья» печаталась в двух январских книжках журнала «Север» за 1892 год.

В начале апреля Левитан приехал погостить к Чехову в недавно купленную им усадьбу Мелихово. Новый рассказ не повлиял на их отношения. Жилось им по-прежнему дружно. Много сердечных, волнующих бесед об искусстве и жизни, но много дурачились, смеялись.

Осталась фотография, которая напоминает об этой веселой поре. Левитан снял писателя В. Д. Гиляровского, когда он вез на тачке братьев Антона и Михаила Чеховых. Посылая эту фотографию Д. И. Смагину, Антон Павлович шутил, что он вышел с одним глазом.

Охотились каждый день. 8 апреля Чехов сообщал Суворину:

«У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа, сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головкой по ложу...» Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым, влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать».

В Москве Левитан застал самый разгар сплетен о новом рассказе Чехова. Одни возмущались прозрачностью намеков писателя, другие злорадствовали, давно озадаченные вызывающей откровенностью жизни Кувшинниковой.

Негодовала Софья Петровна. Она-то и подбила Левитана написать возмущенное письмо.

Отношения накалились.

29 апреля Лика писала Чехову: «Вчера был у меня Левитан, и опять говорили об рассказе. Сам он, кажется, сознает, что все вышло очень глупо. И очень нужно было еще ему писать письмо. Точно не могли вы сообразить, что теперь писать не следовало, потому что это то же, что написать Кувшинниковой».

Недолго имя художника было на устах у москвичей. Новые сенсационные слухи давали им пищу для пересудов. А ссора друзей принимала затяжной характер. Около трех лет продолжался этот разрыв. Он принес обоим много горя. Особенно труден он был Левитану, ему

предстояло пережить очень много тяжелого. А друга рядом не было...

### **ПОД ЗВОН КАНДАЛЬНЫЙ...**

Бесконечная тянется дорога. Сумрачное, облачное небо нависло над землей, как бы придавило ее. Дорога плотно утоптана. Кругом бескрайние поля с перелесочками и бугорками. В чахлую зелень врезается желтизна убегающих в стороны стежек.

Бредет по тропинке одинокая странница, да голубец стоит при дороге. Тишина.

Какая знакомая картина! Сколько на Руси таких полевых дорог, нив, подпаленных солнцем, и тропочек, растрескавшихся от сухости и зноя!

Но в этой дороге, написанной Левитаном, какая-то необычайная хмурость. Огромное, давящее небо угнетает. Тревогой окрашен этот унылый пейзаж, тревогой и предчувствием горя.

Нет, это не просто мастерски написанный пейзаж — это народная эпопея. Левитан назвал картину «Владимирка» — так, как народ прозвал эту дорогу. Вот он, путь страданий, пройденный тысячами людей!..

Дорога эта уходит в бесконечную даль, но она не манит. Содрогаешься от беспросветного мрака, в который она ведет. И только вдалеке светлеет, озаренная уходящим солнцем, полоска спеющей ржи. Это робкий луч надежды.

Первое впечатление было мгновенным и очень сильным. Левитан жил летом 1892 года в Болдино по Нижегородской дороге. Однажды, возвращаясь с Кувшинниковой после охоты, они вышли на старое шоссе.

Вечер был близок. Сумрачное небо настраивало печально.

— Пойдите, — сказал Левитан, — да ведь это Владимирка, та самая Владимирка, по которой когда-то, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда.

Воображение художника включено, быстро рисуются перед его глазами печальные картины. Дорога перестает быть безлюдной. Этапом гонят в ссылку людей, измученных, исстрадавшихся. Рассечены в кровь ноги, измеряющие версты по этой каменистой, твердой дороге.

Пушкинское «Послание в Сибирь» ведет воображение за эту дорогу, далеко на каторгу. Мужество женщин, воспетых Некрасовым, всплывает в памяти.

Левитан вполголоса читает строки из «Колодников» Ал. Толстого:

Спускается солнце за степи,  
Вдали золотится ковыль, —  
Колодников звонкие цепи  
Взметают дорожную пыль...  
...День меркнет все боле, — а цепи  
Дорогу метут да метут...

И вот уже перед Левитаном не простой проезжий путь, а дорога горя. Она и символ жестокости.

В черновых записях к своей книге «Сахалин» Чехов сказал слова, идущие от острой душевной боли: «Мы осквернили эти берега насилием». И за минуту до того мирная картина погружающихся в сумерки полей тоже предстала перед Левитаном, как земля, оскверненная десятилетиями насилия.

Большие порывы вызвал в душе Левитана этот день, когда он сидел у придорожного голубца и смотрел в синюю даль бесконечной дороги.

Тем вечером и созрела мысль о картине. Дома он порывисто набросал эскиз. На другой день с большим холстом отправился на дорогу.

Сюжет так полонил художника, что он работал с полным напряжением сил и окончил этюд «Владимирки» в несколько сеансов. Мольберт его стоял неподалеку от голубца, который мы видим на картине.

Будто история Руси вырастала за спиной художника.

Он не написал колодников, тянущих цепи по дороге. Но в цвете, бесконечности пути, мрачном нависшем небе художник передал все то горе, которое повидала эта земля.

Как перекликалось его настроение со словами Чехова: «Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждений, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей... виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, неинтересно».

И хотя по приезде в Москву Левитан не мог показать Чехову «Владимирку», а писатель не мог прочитать ему главу из своей новой книги «Сахалин», они продолжали быть близкими в творчестве. Ссора — глупая дань вспыльчивости и подстрекательству — не разлучила столь близко слившиеся души друзей.

Не случайно два крупных художника слова и кисти в начале девяностых годов обратились к теме невинности осуждения.

Написать в годы реакции и неприкрытого террора картину о скорбном пути арестантов — значило проявить большое гражданское мужество. Это был вызов самодержавию, протест против деспотизма.

Приглушенный колорит картины не был продиктован желанием изобразить меланхолический серый день. Нет, такой колорит обличения художник избрал для того, чтобы красками сказать о том, что Горький назвал «свинцовыми мерзостями».

Вот когда Левитан-пейзажист заговорил во весь голос о возмущении полицейским террором. Он достиг этого своими же средствами пейзажиста, но так обдуманно и страстно, что «Владимирка» встала в один строй с лучшими произведениями революционного искусства.

Показанная на Передвижной выставке весной 1893 года новая картина встретила очень осторожные отзывы печати. Рецензент «Русских ведомостей» сказал о ней наиболее похвально: «Картина производит весьма глубокое и цельное впечатление». В журнале «Семья» ее причислили к удачному «пейзажу настроения», зато «Петербургская газета», которая позволяла себе печатать открыто издевательские материалы о Левитане, нашла такие «окрыляющие» слова о новом, значительном творении художника: «Темой для картин служит природа России. Выбраны самые неприглядные, «серые» мотивы. Что может быть скучнее «Владимирки — большой дороги» г. Левитана...» Рецензент предпочел не вникать в подтекст картины: это было небезопасно.

Но не газетные отзывы определили место «Владимирки» в русском искусстве. Это сделали зрители. Одни из них подолгу стояли возле картины, и чувство глубокой благодарности к художнику наполняло их сердца. Как много говорил им этот скромный пейзаж! Они преклонялись перед мужественной кистью Левитана.

Другие не хотели замечать большой мысли картины, нарочито сводя ее лишь к изображению серого дня. Они даже побаивались смелости художника, замалчивали ее.

«Владимирку» не заметил и Третьяков — вернее, и его смутила откровенная тенденция, заложенная в этой картине. Он не купил ее для галереи, которую уже к тому времени передал во владение городу.

Тогда Левитан принес картину в дар галерее. Он писал Третьякову 11 марта 1894 года: «Владимирка», вероятно, на днях вернется с выставки, и возьмите ее и успокойте меня и ее».

Так плод зрелой мужественной кисти художника занял свое законное место в галерее, рядом с другими его прославленными полотнами.

Об эскизе к картине «Владимирка» рассказывает в своих

воспоминаниях писатель И. А. Белоусов: «Левитан подарил Михаилу Павловичу эскиз своей картины «Владимирка».

Я как-то пришел в дом Корнеева: Антона Павловича не застал дома; зашел в комнату Михаила Павловича и увидел у него на столе подаренный Левитаном эскиз. Я стал рассматривать его и хвалить.

Михаил Павлович как-то раздраженно сказал:

— Нет, вы посмотрите, что он написал!

И я прочитал надпись, сделанную чернилами на самом эскизе: «Будущему прокурору Михаилу Павловичу Чехову. И. Левитан».

А нужно заметить, что Михаил Павлович был на юридическом факультете, и Левитан своей надписью делал тонкий намек на будущее — вот, дескать, по какой дорожке ты будешь посылать людей, закованных в кандалы, когда будешь прокурором.

— А эскиз все-таки хорош, — продолжал хвалить я.

— Вам очень понравился? Так не хотите ли, я его подарю вам?

— Да как же так, ведь он вам подарен, — возражал я.

— С такой надписью я его иметь не хочу!..

И я взял этот эскиз, который у меня пропал во время переездов с одной квартиры на другую».

После плодотворного лета в Болдино Левитан возвращался домой, полный больших планов. Но там его ждал тяжелый удар.

По приказу, подписанному Александром III, все евреи должны были оставить Москву к 14 июля 1892 года. Левитан был признанным художником, гордостью России. Но и на него распространялся этот приказ.

Доктора Кувшинникова знакомый пристав предупредил, что приказ о выселении касается и Левитана. Его талант не служит для него защитой от произвола властей.

Тяжкие, тревожные дни. Левитан уехал опять в Болдино и до декабря не появлялся в Москве. А Кувшинниковы и другие друзья художника начали энергичные хлопоты. Все волновались: неужели не удастся доказать, что выселение Левитана — это позор России, скандал, который будет услышан далеко за ее пределами?

Вот, кстати, где сказались изумительные человеческие достоинства доктора Кувшинникова! Не щадя своих сил и времени, он сделал все, чтобы помочь Левитану.

Удивительное и многозначительное совпадение: художник только что успел написать свою мятежную картину о дороге ссыльных, как на него самого обрушился страшный произвол.

До разрешения дела въезд в Москву ему запрещен, дальнейшая судьба

неизвестна. Надо увозить картины из мастерской, разорять обжитую квартиру и скитаться по городам, отнесенным к черте оседлости.

Какое несчастье и какой позор для родины, которую так беззаветно любил художник!

Четырнадцатого числа каждого месяца на московском вокзале происходили трагические сцены. Уезжали целыми семьями, не зная, куда они едут, где преклонят голову, найдут заработок. Уезжала еврейская беднота на нищету, голод, унижения.

Царский приказ не давал пощады никому. Четырнадцатое число стало черным днем московского изгнания.

Максим Горький впоследствии с гневом и болью осудил это надругательство над человеком. «Проклятое правительство... черта оседлости — это такой несмыслимый позор для нас».

Перепуганные скандалом, под давлением общественности власти, наконец, разрешили знаменитому художнику остаться в Москве. В знак милостивого расположения и для прекращения толков о выселении сам великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна посетили мастерскую художника в феврале 1893 года. Левитан поспешил сообщить об этом в газету и тем легализовать свое положение.

Софья Петровна устроила в ознаменование радостного события веселый вечер. Тревога, казалось, миновала.

Но кто сумеет залечить рубцы, которые легли на сердце Левитана, кто исцелит глубокую душевную травму, которую принесли ему месяцы унижений! В его тяжелую болезнь «московское изгнание» внесло свою неумолимую лепту. Пережитое никогда не могло забыться...

Да к тому же из Москвы выселили всех родных Левитана, и его старшая сестра уехала с детьми на жизнь, полную нищеты. Забота о воспитании племянников до конца дней обременила художника, заставляя его работать даже тогда, когда сердце требовало отдыха. Другая сестра вовсе покинула Россию.

В эту трагическую пору Левитан не видел рядом Чехова, он был лишен его сердечной и мудрой поддержки.

Еще целый год отголоски угрозы выселения преследовали художника. Для летних поездок требовалось особое разрешение. А добыть его — значит истратить и без того малые нравственные силы, отнять их от искусства.

Пришел на помощь знакомый художник-передвижник — П. А. Брюллов, обладавший большими связями. Благодарное к нему письмо показывает степень его отзывчивости.

22 мая 1893 года Левитан писал ему: «Я просто не знаю, как Вам и выразить свою благодарность, уважаемый Павел Александрович. Такое участие и готовность помочь просто трогательны и, конечно, выше всякой благодарности, и потому лучше об ней ни слова. Бумаги мои на днях перешлю, теперь они в канцелярии обер-полицеймейстера, где я прошу о выдаче мне какого-либо временного паспорта на жительство вне Москвы. (В Москве меня не беспокоят!) Вся эта канцелярщина, стеснения, хлопоты доводят меня минутами до бешенства. Мне кажется мое дело бесконечным».

Через несколько месяцев Левитан вновь благодарил Брюллова: «Позвольте сказать Вам русское спасибо и крепко пожалть Вам руку. От какого громадного количества неприятностей избавило меня Ваше содействие...»

Знакомые Левитана не замечали в нем резких перемен. Он вел свой обычный образ жизни. Много работал, гуляя по улицам Москвы, приходил на конкурсы, устраиваемые Обществом любителей художеств. Оскорбление, нанесенное ему, ушло вглубь, и только чаще стали посещать его приступы тоски.

На мольберте в мастерской стояла картина, которую Левитан готовил для Чикагской всемирной выставки. Помня о шумном успехе «Тихой обители», он писал ее вариант. Многие изменил в композиции.

Работая, художник напевал свою любимую песню «Вечерний звон» на слова поэта-страдальца Козлова, который начал писать стихи, когда потерял зрение. До того он преуспевал на службе, безоблачной была его личная жизнь. Несчастье не сломило его, оно открыло в нем поэтический талант. Левитан любил его стихи, а песню эту часто напевал.

Она переносила его в летние вечера Плеса, когда все многоголосие церковных колоколов вступало в строй и певучий благовест разносился окрест.

Левитан писал картину, полный воспоминаний об этом церковном благолепии. Даже картину назвал «Вечерний звон».

В той же мастерской, написанная тем же художником, стояла готовая к выставке «Владимирка». Одна — вдохновленная звоном кандальным, другая — звоном вечерним.

В одной — протест, бунт, негодование.

В другой — смирение, покой, умиление.

И обе эти картины — знамение своего времени.

Одна — отголосок мужественного сопротивления, зов к борьбе.

Другая — дань безвременью. Картина эта очень нравилась

обывателям, готовым заткнуть уши и не слышать того грозного протеста, который зреет в народе, обывателю, сделавшему теперь песню Козлова чуть ли не своим гимном.

За несколько лет до появления картины «Вечерний звон» Чехов написал потрясающий рассказ «Святой ночью». Его герой истинно верующий человек. Но писатель срывает покровы святости с «Тихой обители». Он показывает монахов и их пастырей людьми корыстолюбивыми, чинопочитателями, чревоугодниками.

Как это далеко от того умиления, в какое привели Левитана слушание благовеста и частое посещение церквей!

Больше никогда в своем творчестве Левитан не вернется к подобным сюжетам. Да и здесь он, говорят, увлекся чисто живописной стороной догорающего дня.

Это действительно его привлекало. Но для него, художника, создающего мудрые картины и поднявшего искусство пейзажа до глубокого философского звучания, был не безразличен смысл того, что он изображал.

Рядом была «Владимирка» — свидетельство мужества, которым в большой степени обладал Левитан.

Так ярко в одном художнике отразились противоречия эпохи, два полюса: прогресс и депрессия.

## **КИСТЬЮ ТОВАРИЩА**

Недавно нам в руки попала фотография, на которой запечатлен один из интересных моментов в жизни Левитана: он позирует Серову. Сеанс происходит в мастерской пейзажиста. Серову — двадцать семь лет, его модели — тридцать два.

Мы видим портретиста в момент, когда он положил мазок и внимательно смотрит на холст. Портрет еще не закончен. Много в лице и фоне еще будет изменено, пока он попадет на выставку. Но уже и сейчас видно, каким он будет.

Рядом — Левитан, рука его лежит на спинке плетеного кресла.

Это самые душевные минуты, проведенные друзьями вместе.

Портрет начат в декабре 1892 года. Дарование Серова всегда восхищало Левитана. А теперь он видел, как мазок за мазком создается портрет, с какой уверенностью лепится форма лица и как спокойно, красиво легла согнутая в кисти рука. Он видит, как день за днем товарищ переносит на холст черты его лица, как он освобождает создаваемый образ



от всего случайного и как на холсте появляется портрет художника.

Многие поколения представляли себе Левитана по портрету Серова. Таким и рисовался он в представлении поклонников таланта — красивым, благородным, человеком большой души и лучистого обаяния, поэтом, углубленным в раздумье. Его пронизательный, спокойный взгляд показывает нам художника трагической судьбы, много пережившего и испытывавшего.

Серову удалось в этом портрете вылепить образ столь многогранный, тонкий и правдивый, что все остальные изображения Левитана сравнивались с этим созданием серовской кисти. И редко когда эти сравнения шли в пользу нового портрета. Серов так и остался в этом непобежденным.

Левитан считал это произведение шедевром.

Художник В. И. Соколов был свидетелем его восхищения. Он вспоминал:

«Однажды Исаак Ильич сказал мне: «Сейчас я вам покажу поразительную вещь!» Пошел в боковую комнату и вынес оттуда свой портрет, написанный Серовым в 1893 году.

— Серов — изумительный художник, — сказал Исаак Ильич. — Я уверен, что мой портрет его работы будет потом в Третьяковской галерее».

Так и случилось. Огромный успех на выставке сопутствовал этому произведению. Как будто Серов бросил вызов двору, создав восхитительный портрет изгнанника. Вместе с чертами поразительного сходства портретисту удалось передать и ярко выраженную поэтичность натуры, ее артистизм, изысканность и затаенную обреченность. В печальных, мягких глазах Левитана читалась глубина его тяжких страданий.

Все, кто не знал художника, поверили в этот портрет сразу и навсегда. Он занял в их сердце постоянное место рядом с картинами Левитана, которые надо только раз полюбить, и верность им сохраняется на всю жизнь.

Но Серов был не из таких художников, которых может убедить многоголосый хор похвалы. И. Э. Грабарь рассказывал, что Серов не любил этот портрет. Его взыскательность была очень высока. И ни восторги Левитана, ни единодушные отзывы зрителей не могли его переубедить, что все надо было написать иначе. Сколько раз сам Левитан испытывал подобное же чувство перед своими холстами! Вещи, от которых друзья приходили в восторг, казались ему недосказанными. И он снова оставлял их в мастерской, показывая только после долгих месяцев труда.

Но в данном случае он не понимал недовольства Серова. Ему-то были ясны огромные достоинства нового портрета, и он очень обрадовался, увидев его в Третьяковке.

Их разделяли годы. Пять лет в этом возрасте — чувствительный водораздел. Левитан учился в Москве, Серов — в Питере. Но это, пожалуй, единственные отдаляющие черты. В остальном их влекло друг к другу единство мыслей, чувств, видения.

Когда Серов писал пейзажи, то Левитану они были близки, новы и неожиданны. Им случилось даже соперничать в 1880 году на конкурсе Московского общества любителей художеств.

Волжский пейзаж Левитана получил тогда первую премию. Остроухов заранее предупредил Серова, что у его «соперника» шансов на успех больше.

Но чаще они не соперничали, а шли рядом.

Для Серова пейзаж не стал столбовой дорогой. Может быть, самобытность Левитана, его крепнувший талант порой останавливали Серова от пейзажных поисков. А вернее всего, дар портретиста обозначился с такой заметной яркостью, что все другое отступило для него перед этим увлекательным жанром.

Но когда вдохновение влекло Серова к природе, то он видел и изображал ее с тем же целомудренным чувством восхищения, которое отличало почти все полотна Левитана.

Художественная жизнь Москвы постоянно сталкивала их вместе. Серов рисовал модель на поленовских вечерах, видя, с каким проникновением отдавался этим сеансам Левитан.

Они вместе слушали пламенные речи художника Ге о пейзаже на вечерах общества любителей художеств и встречались в гостях у Светославского, чтобы говорить все о том же: о трудном пути русского художника в эти трудные для России годы.

Однажды ночью они вместе приехали на дачу к друзьям в Домотканово, переполошили весь дом. Заспанная девушка спросонья сказала хозяйке, что приехал «Тошка, а с ним еще какой-то черный». Это были Серов и Левитан. Вот они, чудесные места, которые вдохновили Серова на его восхитительные осенние пейзажи! Левитан теперь увидел их в натуре.

И еще одно особенно роднило друзей. Серов любил повторять, что писать картины надо очень просто, понятно для каждого мужика.

Не была ли девизом всего творчества Левитана простота, доступность для каждого зрителя?

Дружба скрепилась портретом.

## ОЗЕРНЫЙ КРАЙ

На станцию Троица часто приезжали крестьяне из села Доронино. Справив свои дела, они ждали прихода дальнего поезда: не пожелает ли кто из пассажиров нанять возницу.

Рыбинский поезд подошел к платформе. Из вагона вышла Кувшинникова в сопровождении Левитана.

Они оглянулись вокруг, не зная, в каком направлении держать путь. Приехали сюда, привлеченные рассказами о необыкновенно поэтичных озерах.

Доронинский крестьянин Филипп Петров заметил растерянность новых пассажиров. Поезд давно отошел, а они стояли, не зная, на что решиться.

Петров расхвалил имение Ушаковых, стоящее на озере Островно, сказал, что там охотно примут дачников.

Художники попали в старую, запущенную барскую усадьбу. Сестры Ушаковы были приветливы и рады приезду культурных людей. Их брат, старый холостяк, веселый и беспечный человек, заметно ожил в обществе московских гостей.

Левитан и Кувшинникова поселились в доме, где рояль стоял в высоком зале с колоннами и старинными хорами. Хозяева жили в пристройке.

Дом выглядел таким заброшенным, что казалась неожиданной изысканность его внутреннего убранства.

Радужие молодых хозяев и их матери помогло тому, что дачники почувствовали себя как дома, расположились в усадьбе прочно.

Красота действительно кругом была редкая. Сад как огромный куст сирени: белая, голубая, фиолетовая, в полном цвету. Аромат ее заполнял комнаты, он налетал в окна порывами ветра, охватывал каждого, кто проходил по заросшим дорожкам.

Сирень — торжествующая над временем, разрушением, молодая, сильная. Как любил эти цветы Левитан!..

И он писал в тот год сирень запоем — маслом, пастелью. Он купался в одуряющих, сильных сиреневых настоях, ликовал, вглядываясь в богатство оттенков, какие давали фиолетовые кусты.

Счастливая пора!

Внизу под холмом, на котором стояла усадьба, тянулось огромное озеро — чистое, со студеной водой.

Левитан хорошо плавал и, не боясь утренней прохлады, сильными взмахами рук быстро достигал островка, зеленого, уединенного.

Иногда он брал лодку и, тихо перебирая веслами, огибал озеро, вглядываясь в прибрежные березовые рощи, дальние церквушки в зелени и густые, непроходимые леса.

Да, эти места были похожи на застывшую сказку. У берега такого тихого озера, далекого от московской грязи, можно забыть о недавно пережитых страданиях.

Этюды копились. Много цветов написал в то лето Левитан. Сестры Ушаковы смотрели на него восхищенными глазами и были счастливы, что их старая, заброшенная усадьба в полотнах знаменитого художника увидит свет.

Широкая гладь озера будила одну давнюю мысль, возникшую еще на высоком берегу Волги.

Однажды Левитан поехал с Кувшинниковой верхом в далекую прогулку. Он давно слышал рассказы о старинном монастыре, который в древние времена был на месте усадьбы Гарусово, о схимниках, живших на островке Удомельского озера.

Мысль о картине гнала его на поиски близкого замыслу мотива.

Озеро Удомля — удивительно прозрачное, с островком посередине, казалось, лучше всего отвечало его чаяниям. Аракчеев — хозяин имения Гарусово — возил Левитана на своей лодке к островку. С него-то и писал художник этюд для большой картины.

Церковь с погостом он увидел на берегу и только в эскизе перенес ее на островок.

Прежде был написан этюд «Забывтые», в котором горькое уныние заброшенного сельского погоста.

Иногда Левитан оставался ночевать в Гарусове. Вставал рано. На берегу сушились сети: для Аракчеева рыбная ловля была обязательным занятием.

Картина названа «Вечер на озере». Она написана в Гарусове.

У берега сушатся сети, острые вершины елей отражаются в зеркальной поверхности воды. Здесь удивительны эти отражения, особенно ранним утром, когда прозрачен и тих воздух.

С маленького возвышения далеко виднеется озеро, и на воде качаются чайки. Над озером — огромный небосвод. Кажется, нигде прежде не видел художник такого бесконечного неба и такой светлой, почти молочного

цвета воды.

Он наблюдал за небом, иногда набрасывал рисунок облаков, делал этюды. А больше запоминал своей цепкой памятью, чтобы потом в тиши мастерской «сочинить» то грозное небо, которое как бы вступало в спор с застывшей тишиной озера.

Первый эскиз картины «Над вечным покоем» Левитан писал в большом зале ушаковского дома. Он просил Софью Петровну играть. Страстные и мятежные шопеновские ноктюрны сменялись Бахом. Но чаще всего Левитану хотелось слышать траурный марш из «Героической симфонии» Бетховена. Его скорбными и торжественными звуками словно пропиталась кисть художника, когда он создавал свое самое трагическое произведение.

Только что пережитая трагедия, слабеющее здоровье, чувство собственной обреченности и страшная жажда жизни диктовали ему сюжет картины. Но мысли о том, что радости может больше не быть, сливались для Левитана с окружающим мраком, с той беспросветностью, которая держала всех мыслящих людей в тисках. В этой картине личное переплеталось с жизнью страны и потому прозвучало так сильно.

Это замечательный пример философской идеи, выраженной пейзажем.

Тяжелые, сумрачные облака проходят, как Время. И, чтобы подчеркнуть вечность, Левитан заменил современную церковь в картине древней деревянной церквушкой из Плеса.

В ее окнах теплится огонек — там человек, там жизнь. И этот маленький светлячок возле холмов, под которыми ушедшая жизнь, говорит о ее непрерывности. Одни умирают, рождаются другие. Но что ты, человек, сделал на этой земле? Какую память, кроме этого креста, оставил по себе? На небе ведь нет ничего, кроме несущихся туч, и «вечный покой» остается на этом погосте.

Картина заставляла думать и действовать.

Радуюсь тому, что «Над вечным покоем» попадает в галерею Третьякова, Левитан писал ему об этой картине: «В ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием».

Как бы пробужденный собственной картиной, Левитан обратился к тому радостному, чем благодетельствовала человека природа, и стал писать торжественные гимны земле, а не только смотреть на нее, как на будущую могилу. Он спешит создавать вещи, которые бы остались после него и могли соперничать с величественным бессмертием природы.

Поэтому с годами росла требовательность к своему искусству. Он научился пейзажами говорить с людьми.

## ГОРКА

Так было всегда. Вдруг потянет в новые края, хочется повидать иные страны. И Левитан спешит уехать. Мелькают названия городов: Вена, Ницца, Париж.

«Все неизведанное влечет», — признается он в одном письме. А Третьякову пишет: «...чувствую себя так ужасно, сознаю, что если останусь теперь весною в нашем климате, то останусь навсегда; может быть, это моя болезненная мнительность, но это так».

Левитан уехал за границу в марте. Очень устал. Всю зиму упорно готовил к выставке картину «Над вечным покоем». Нужен был отдых, смена впечатлений. В поездке Левитан окреп, поздоровел, но все время нетерпеливо стремился домой. Париж с его музеями, выставками, ателье художников, которые можно всегда посетить, также привлек ненадолго.

Все мысли о родной природе, они заполняют письма: «Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси — реки разлились, оживает все...» — пишет Левитан Ап. Васнецову. «Нет лучше страны, чем Россия! Только в России может быть настоящий пейзажист. Здесь тоже хорошо, но бог с ней».

«Мучительно хочется видеть тающий снег, березку», — признается Н. В. Медынцеву.

В начале июля Левитан побывал в деревне Шашково, на даче у Переплетчикова. Наполненный впечатлениями заграничной поездки, он был разговорчив, бодр, в хорошем настроении.

Начались сильные грозы. Левитан наслаждался родными пейзажами, замирал при взгляде на очищенную дождями звонкую зелень, успокоенный вдыхал особую свежесть земли, недавно умытой дождем.

Он гостил у приятеля недолго и быстро собрался снова на озера. Места эти запомнились, редкая тишина действовала успокоительно.

На старых бревнах дома еще не смылись следы масляных красок, которые Левитан оставлял, чистя палитру. Хозяева не сердились на такую поправу. Они даже берегли эти яркие пятна, как напоминание о дорогом госте.

Сирень уже отцвела, и Левитан бродил по окрестным деревням, глухим лесам в поисках новых мотивов. Но чаще он проводил дни у озера. От него трудно было оторваться.

Опять приехала сюда и Софья Петровна. На лето она пригласила свою знакомую — молодую поэтессу Щепкину-Куперник с подружкой. Девушки

радовались полной свободе. В доме каждый делал, что хотел. Они целые дни проводили на озерном островке — зеленом, заросшем земляникой. Полное уединение. Левитан отвозил их на лодке, а перед вечером приезжал за ними. Издалека слышались плеск весел и его шутливые слова:

— Девочки, ужинать! Сегодня раки и малина!

Иногда он усаживал подруг на посеребренных от времени ступенях террасы, заросшей сиренью, и писал, плененный свежестью их лиц, мягкими тонами розового и фиолетового платьев.

Получалось неудачно. Но художник не огорчился. Сеанс портрета в сиреневом саду сам по себе был так приятен, что слабость наброска не волновала. Он прост не мог устоять от соблазна пописать розовые лица, сияющие глаза и торжествующую силу молодости. Этуд быстро уничтожил, благодарный девушкам за приятно проведенное время.

Имение Ушаковых лежало на холме, возвышающемся направо от проезжей дороги; налево от нее, тоже на холме, был густой бор, и в нем — Горка, имение Турчаниновых. Озером до него ехать совсем близко, дорогой — чуть подальше.

Этим летом, как всегда, Анна Николаевна Турчанинова приехала с тремя дочерьми в свое имение. Она дружила с Ушаковыми. Прослышав о том, что у них живет известный художник, взяла старших дочерей и поехала знакомиться.

Скоро Варя и Соня Турчаниновы подружились с молодыми гостями Софьи Петровны. Они вместе купались, ездили на островок, грелись на солнце, срывая крупную землянику прямо губами.

Всей компанией отправлялись в Горку. Там было меньше простоты, чем в ушаковской запущенной усадьбе. Девушки говорили по-английски с гувернанткой, играли в лаун-теннис. Взрослые тоже ходили друг к другу в гости, участвовали в праздниках, какие часто устраивала Турчанинова.

В Горке была хорошая библиотека, и Левитан провел в ней немало увлекательных часов. Даже писал знакомому Н. Н. Медынцеву: «Я работаю много и еще больше читаю. В моем распоряжении огромная библиотека, где много запрещенных книг и очень интересных».

Анна Николаевна блистала тонким очарованием ума, была хорошо образованна, умела увлечь человека интересной беседой. Чем доверчивее относилась к Левитану эта непостижимо обаятельная женщина, тем мрачнее он становился, на несколько дней исчезал, бродя с Вестой по лесам.

А ведь так хорошо складывалось лето, так хорошо работалось — и вдруг снова меланхолия!

Софья Петровна, которая умела когда-то заботливо помогать Левитану в тяжкие дни, сама то и дело доводила его до приступов.

Зимой они встречались не часто, порой Левитан даже избегал этих встреч.

Но сейчас, в разгар работы, начались сцены ревности, слезы, истерики. Эта женщина, которая поссорила его с Чеховым, хотела повелевать всеми его поступками и ревновала не только к Турчаниновой, но и к запрещенным книгам.

Ссора кончилась тем, что Софья Петровна уехала, и Левитан спокойно вздохнул. Но злые, оскорбительные письма Кувшинниковой не давали ему прийти в себя.

Семья Турчаниновых прилагала все усилия, чтобы художник вернулся к работе. Его пригласили в Горку и сердечно оберегали. И вот к осени живопись вновь захватывает Левитана, он забывает обо всем на свете, неистово пишет, пишет и пишет до глубокой осени. В короткой записке он извинялся перед Терезой: «Я немного запоздал с деньгами, прости, я уезжал из деревни к знакомым и забыл, по правде сказать, о времени посылки денег...»

Левитан создал целую сюиту в честь красок осени. Наконец появляется «Поздняя осень». Художник увлечен пастелью, и цветные мелки в его руках творят чудеса.

В знак благодарности он дарит всем Турчаниновым свои работы, и среди них совершенно пленительную пастель, изображающую васильки в такой же простой глиняной крынке, в какой он написал в Плесе одуванчики. Это — старшей дочери, светловолосой Варе: «Сердечному, чудному человеку В. И. Турчаниновой на добрую память. И. Левитан. 1894 г.». Младшим девочкам — тоже цветы, Анне Николаевне — пейзаж.

Уже были заморозки, когда Левитан вернулся в свой Трехсвятительский переулок с холстами, которые поразили друзей новизной и силой темперамента.

## **СНОВА У ЧЕХОВЫХ**

Левитан всегда производил впечатление человека сдержанного, как бы застегнутого наглухо от посторонних взглядов. Иногда внешняя воспитанность, даже деликатность, казалась сухостью.

Но Чехову он бы сказал все, выплеснул бы ту боль, какая накопилась за три года их разлуки.



Никто не хотел сделать первый шаг. Нужен был толчок извне. Щепкина-Куперник давно собиралась к Левитану посмотреть островенские этюды, которые писались в знакомом ей месте. Она застала художника за работой, с перепачканными руками. Гостье был рад, усадил на мягкий диван и начал горестно жаловаться на одиночество.

Поэтесса ехала в Мелихово. Как всегда при этом, исполняла массу поручений, данных в шуточной форме. То «взять полфунта прованского масла, подешевле для гостей», то «два фунта крахмалу самого лучшего для придания нежной белизны сорочкам, а также панталонам».

Ожидая Куперник в Мелихово, Чехов шутливо предупреждал: «Я буду в восторге, если Вы приедете ко мне, но боюсь, как бы не вывихнулись Ваши вкусные хрящики и косточки. Дорога ужасная, тарантас подпрыгивает от мучительной боли и на каждом шагу теряет колеса. Когда я в последний раз ехал со станции, у меня от тряской езды оторвалось сердце, так что я теперь уже не способен любить».

Не убоявшись этих предупреждений, купив все, что было поручено, Куперник предвкушала, как она вновь очутится в семье Чеховых.

Левитан грустно слушал ее рассказы, завидовал тому, что она скоро увидит его близких друзей, растревожил своей печалью и гостью.

— За чем же дело стало? — сказала она весело. — Раз хочется, так и надо ехать. Поедемте со мной сейчас.

Неожиданность этого предложения ошеломила Левитана.

— Как? Сейчас? Так вот и ехать?

— Так вот и ехать.

— А вдруг это будет некстати?.. А вдруг он не поймет?

Но Куперник с решительностью начала собираться и торопила Левитана. Она уверяла его, что все кончится хорошо и не будет никаких осложнений.

Под градом самых убедительных доводов художник согласился, отмыл руки, переоделся и, дико волнуясь, отправился в Мелихово.

По дороге веселая спутница отвлекала Левитана своими живыми рассказами. Она сама была очень беспокойна и тревожилась за исход затеянного дела.

Дорога от Лопасни оказалась нестерпимо трудной — такие колдобины, так трясло, что уж не до тревожных мыслей. Но когда сани остановились возле крыльца, оба, и поэтесса и художник, замирали от страха.

Щепкина-Куперник записала, как произошла знаменательная встреча:

«И вот мы подъехали к дому. Залаяли собаки на колокольчик, выбежала на крыльцо Мария Павловна, вышел закутанный Антон

Павлович, в сумерках взгляделся, кто со мной, — маленькая пауза, — и оба кинулись друг к другу, так крепко схватили друг друга за руки — и вдруг заговорили о самых обыкновенных вещах: о дороге, о погоде, о Москве... будто ничего не случилось.

Но за ужином, когда я видела, как влажные блеском подергивались прекрасные глаза Левитана и как весело сияли обычно задумчивые глаза Антона Павловича, я была ужасно довольна сама собой».

Наутро Антон Павлович спешил в Москву и не хотел будить Левитана. Художник оставил Чехову на своей визитной карточке такую записку. «Сожалею, что не увижу тебя сегодня. Заглянешь ты ко мне? Я рад несказанно, что вновь здесь, у Чеховых. Вернулся опять к тому, что было дорого и что на самом деле и не переставало быть дорогим. Жму дружески руку. *Твой Левитан*».

И Чехов всегда с любовью вспоминал о Левитане. Почти год назад в письме к Лике, которую он приглашал в гости, Антон Павлович писал: «У нас природа грустнее, лиричнее, левитанистее...»

Через несколько дней Чехов поднимался по чугунной лестнице в мастерскую, обитую серыми сукнами.

Давненько он здесь не бывал и не знает того, что художник пока скрывает от взоров зрителей.

Чехов верил в дарование Левитана. Еще весной 1891 года, побывав в парижском салоне, он все же пальму первенства оставил за другом, а потом делился с сестрой своими впечатлениями: «Кстати сказать, русские художники гораздо серьезнее французских. В сравнении со здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан король».

Чего же достиг за годы разлуки коронованный им пейзажист?

Пастельная сюита — гимн осени, созданная Левитаном в Горке, уже демонстрировалась в залах очередной периодической выставки. Но на нескольких мольбертах стояли картины. И нельзя поверить, что недавно художник отправил так много законченных произведений.

Чехов рассматривал полотна, которые еще не скоро увидят свет. Близилась к концу величавая волжская эпопея, задуманная еще несколько лет назад. Только теперь найдена композиция и цвет воды приближается к тому, который хотел художник. Это «Свежий ветер» — картина, начатая еще в Плесе.

Увидел Чехов и многие другие холсты. За годы разлуки заметно возмужало искусство живописца. Сделанное прежде ему самому казалось пройденным этапом, и он стремился найти новые формы для выражения своих чувств. Он искал и в природе и на палитре новые краски, и эти

поиски в последнее время обуревали его особенно настойчиво. Требовательность к себе становилась деспотической, безжалостной. Чаще, чем прежде, Левитан увозил с выставки картины, так и не решаясь их показать, зная, что еще может в них досказать.

Чехов пришел в мастерскую в разгар этих новых поисков. И не все еще было ему ясно. Многое пленяло сразу, но что-то и настораживало.

Друзья провели у картин несколько часов. Как им было хорошо! Левитан не знал, куда усадить Чехова, что еще ему показать. Он оживился, весь как-то лучился от радости, что опять его мятущаяся душа нашла, к кому притулиться.

Вернувшись в Мелихово, Чехов поделился с Сувориным своими впечатлениями от встречи со старым товарищем. Тогда-то он и написал такие суровые слова: «Был я у Левитана в мастерской. Это лучший русский пейзажист, но, представьте, уже нет молодости. Пишет уже не молодо, а бравурно. Я думаю, что его истаскали бабы... Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного: только молодость. Пейзаж невозможно писать без пафоса, без восторга... Если бы я был художником-пейзажистом, то вел бы жизнь почти аскетическую».

Не понял Чехов смелых поисков Левитана. Сказались годы разлуки. Многие мысли, стремления художника еще были далеки писателю. Одной встречи слишком мало для того, чтобы постигнуть глубину происходивших перемен.

На такую оценку могли повлиять и рассказы Левитана о житейских передрягах.

Сам Чехов был в это время поглощен рассказом «Супруга», который кончил в феврале. Образ женщины, превратившей мужа в униженную тряпку, занимал его мозг. Рождалась тогда и знаменитая «Ариадна» — женщина еще более хищная, опасная, перед капризами которой тоже угасала воля мужчин.

Писатель пришел в мастерскую художника от письменного стола, от маленьких листков бумаги, на которых скупно, выпукло и беспощадно он рисовал облик женщин, приносящих несчастье.

Чистосердечный рассказ Левитана о событиях минувшего лета вызвал у Чехова мысль об утерянной молодости, о бравурности искусства.

Никогда еще искусство Левитана не было таким молодым. И если сравнить картины его последнего пятилетия с теми, которые он создавал юношей, то право называться молодыми останется за созданиями зрелой левитановской кисти.

Очень скоро Чехов смог в этом убедиться.

Писатель подарил художнику труд, который написал тоже в годы их разлуки. Это была книга «Остров Сахалин», и Чехов сделал на ней такое веселое посвящение: «Милому Левитану даю сию книгу на случай, если он совершит убийство из ревности и попадет на оный остров».

В конце января Левитан вновь приехал в гости к Чехову, и тот рассказал ему, какая стычка произошла у Маши с Маминым-Сибиряком из-за его живописи. Она была с ним в цирке и потом написала брату: «Кончилась эта поездка не совсем благополучно. Мамин разозлился на меня за Левитана, за то, что я похвалила его как художника-пейзажиста, да еще назвала русским пейзажистам... Приедешь, все расскажу. Досталось мне здорово!»

Это было очень характерно для отношения некоторой части русской интеллигенции к творчеству своего современника. Одни с пеной у рта вычеркивали его из истории русского искусства. Другие поклонялись ему и ждали каждой новой картины.

И. Э. Грабарь вспоминал о том, как он и другие молодые художники любили Левитана, как они «с нетерпением ждали некогда открытия Передвижной выставки, и жадно искали уголка с его новыми картинами. Каждая из них была для нас новым откровением, ни с чем не сравнимым наслаждением и радостью. Они вселяли бодрость и веру в нас, они заражали и поднимали. Хотелось жить и работать. Велика должна быть сила художественных произведений, если они действуют столь неотразимо и благодатно. В них есть дыхание истинной жизни и скрыта подлинная поэзия».

В новых живописных поисках Левитан укрепился после встречи с Суриковым возле его картины «Ермак». Она произошла около года назад.

Тогда-то Суриков, этот немногословный и угрюмый человек, с полной убежденностью произнес фразу:

— Колорист — художник, не колорист — не художник.

Композиция его картины закончена. От тона сепии, которым подготовлен рисунок, художник переходил постепенно к богатейшему колористическому решению.

Левитан был покорен и «Ермаком» и Суриковым, хвалил картину за экспрессию и жизненность ее персонажей. Об этом записал в своем дневнике Переплетчиков.

Встреча с великим колористом возле его неоконченной картины оказалась очень многозначительной для Левитана. Пожалуй, никогда он не чувствовал так несостоятельность своих прежних методов тональной живописи, как в мастерской Сурикова, где каждый мимолетный набросок

вызывал желание повторить за Гоголем: «Яркая музыка очей, живопись, ты прекрасна».

Для Левитана теперь колорит стал основой живописи. А для всех людей, ожидающих от искусства нового слова, творчество Левитана было подобно свежему ветру, очищающему картины от рутины и косности.

## III К СОЛНЦУ

### *ЕЩЕ НЕ СТАЯЛ СНЕГ*

Недавно построенный дом на берегу озера стал обитаем. Левитан в высоких сапогах, с этюдником и ружьем через плечо пересек снежную поляну. Он вошел в ателье, раздвинул шторы, и в большие окна брызнул ослепительно-ясный свет, какой бывает только в марте.

— Барынина кровинка приехал, — шептались слуги.

Так ласково в тех местах называли человека, который любил женщину, но не имел права назвать ее женой.

Вскоре и в большом доме появились хозяева: приехала Анна Николаевна с младшей дочерью Лией, черноглазой, лукавой и очень смешливой девочкой, которую в детстве прозвали нежным именем Люлю.

Снег еще цеплялся за землю, но весна шла буйная, дружная.

Мартовские дни 1895 года в Горке принесли Левитану много счастливых находок в искусстве. Он наблюдал и писал первые проблески весны.

Стремительность ее приближения заставляла торопиться. Кругом еще было много снега, но пейзаж менялся мгновенно. И там, где вчера все притаилось под белым покровом, сегодня уже бежали бойкие ручьи, пробиваясь через пласты снега. Остановишься, посмотришь, а пористые хлопья тают на глазах и сливаются с веселыми ручьями.

Левитан заходил домой, чтобы отнести готовый этюд и пополнить красками этюдник. В каком-то запое предавался он слиянию с природой, швырял на холст краски, и мазок страстный, трепетный отвечал взбудораженному состоянию его души.

Картина «Весна. Последний снег» — дань этому упоению весной, разливом рек, таянием снега.

Близ опушки молодой рощицы, розовой от свежих почек, — талая вода и белые островки снега на обнаженной желтой поляне.

Этой весной Левитан больше, чем прежде, старался в этюдах уловить целое. Он писал внешне грубо, но очень тонко сочетал цветовые массы. И удивительное дело! Эти размашистые этюды, в которых прописаны только несколькими красками цвет неба, реки, теней, снега, размытого песка и дальнего плана — леска, без подробностей давали правдивую картину

природы. Они очень предметны. В них вы больше ощущаете характер изображенных пригорков, снежных глыб или текущей воды, чем в ином этюде, где выписан каждый камешек в ручейке.

Чем слабее себя чувствовал Левитан, тем сильнее его тянуло к живописи. Он сказал об этом очень верно в письме к художнику Средину перед приездом в Горку: «...искусство такая ненасытная гидра и такая ревнивая, что берет человека, не оставляя ему ничего из его физических и нравственных сбережений».

По ночам, когда не спалось, Левитан слышал, как трескается лед на озере. Ранним утром уже были разводья. Весна в природе и на сердце приносила радостное возбуждение, оно-то и проникало на холсты.

В несколько упорных сеансов написан лучезарный «Март». Горкинская лошадь Дианка подъехала с санями к крыльцу. Солнце греет, снег съезживается на крыше крыльца, и следы от ног на тропинке темнеют, углубляются. Ясное, чистое, синее небо бросает синеву на землю, дает голубые тени под деревьями, пронизывает весь воздух ощущением мартовской голубизны.

Вы полюбите эту картину с первого взгляда, как любите предчувствие весны в морозные дни, озаренные щедрым солнцем. Она вызывает в памяти детство.

В картине, однако, все — в борьбе: зимы с весной, теплого света солнца с холодной лазурью, темных сосен со светлыми, зеленоватыми извилистыми стволами осин, ослепительных пятен снега с синими тенями.

Казалось бы, художник построил этот немудрый сюжет на кричащих контрастах: большой купол ярко-синего неба и большой кусок ярко-желтой стены. Они бы должны спорить, вносить в картину элемент раздражения. Но этого нет. Все примирено. Как? Неуловимо в холодную синеву проникает тепло золотистого солнца, а желтизну стены окутывают голубые рефлексы неба. Так примиряются кажущиеся противоречия цветов, ничто не кричит, а поет гармонично.

Мы привыкли называть снег белым. Он таков для обычного глаза, но не для зоркого видения художника. В картине «Март» снег тоже кажется белым, но если присмотреться, то белизна эта создается из множества цветовых оттенков. Художник по-суриковски многолико воспринял цвет. И потому снег живет, дышит, мерцает, отражая солнце и небо. Вы почти ощущаете этот шелест его медленного таяния.

Левитан не знал суровых слов Чехова о том, что в искусстве его стало мало молодости. Но, не зная, «Мартом» он ответил другу. В русском искусстве трудно найти вторую такую молодую, звонкую, бодрую и

целомудренную картину.

Люлю жалела сердце Левитана, носила ему ящик с красками, смотрела, как пишет художник, слушала, как ласково он говорит о природе. Красота, часто видная только ему одному, действовала на него так сильно, что он тут же воспламенялся и произносил ей панегирики.

Девочка любовалась тем, как холст, загрунтованный мелом, углубляется под ударами кисти и превращается в бездонное голубое небо, а внизу покрывается рельефом сугробов, озаренных солнцем.

Минут годы, Аня станет взрослой, а эта солнечная весна останется ярким воспоминанием ее далекого отрочества.

Мы сидим в ее ленинградской квартире и беседуем с пожилой женщиной, в темных глазах которой сохранились и лукавство и огонек. Воспоминания о Левитане стали как бы семейной реликвий. Она одна из семьи Турчаниновых живой свидетель того, как в Горке создавались лучшие полотна художника.

— «Март» писался при мне.

И каждый, кому дорого искусство Левитана, позавидует ей.

## **ВЫСТРЕЛ**

Лета призвали Левитана в город. Он с сожалением расставался с лесным домиком и увез в Москву все, что написал этой доброй к нему весной.

Надо быть на собрании передвижников в Петербурге, повидаться с Чеховым перед разлукой на лето. А потом снова Горка, озеро, дикие утки и краски, вызывающие трепет в душе каждого художника, — масляные краски.

Май. Еще разлив не угомонился. Вышли из берегов все ручейки и речушки. Серая выползает из воды земля, унылые торчат из заводей голые стволы деревьев. Жалкая, скучная картина! Кому она дорога, у кого вызовет в сердце поэтические чувства?

Плещееву довелось сказать об этом так верно:

Отчизна! Не пленишь ничем ты чуждый взор...  
Но ты мила красой своей суровой  
Тому, кто сам рвался на волю и простор.  
Чей дух носил гнетущие оковы...



Левитан любил землю, на которой человек жил, страдал и боролся, он воспевал эту землю, волю и простор.

Весной в Горке художника увлекли разливы. Он писал на берегу реки Снежа, впадающей в Островенское озеро. Вдали виднеются почти вросшие в землю избы деревни Мурово. Белые стволы затопленных берез отражаются в покой воде.

Потом, в мастерской, эти этюды помогут написать тонкую по цвету картину «Весна. Большая вода». В ней художник красками рассказал о чувствах, какие охватили его у разлившейся реки, о жалости к человеку, живущему в полузатопленных избах.

В Горке снова собралась вся семья. Молодые голоса и беззаботный смех разносились по парку.

Из соседних сел приезжали больные, и Анна Николаева, как умела, лечила их, с помощью Сони делала перевязки, давала лекарства, раскрывая стою заветную комнатку, в которой находилась аптечка.

Мало кто замечал, что в доме назревала драма. Только нет-нет да обменяются резким словом выдержанная, воспитанная Анна Николаевна и Варя. Да, бывает, скользнет злой взгляд дочери по моложавому лицу матери. И опять внешне все спокойно.

Или Люлю, крадучись, пробежит по тропинке к домику Левитана и передаст ему записочку от Вари. Она не могла ни в чем отказать любимой сестре.

Художник уходил на охоту и почти не работал. Это был самый верный признак его глубокой подавленности.

Варя полюбила его со всей чистотой и силой первого, настоящего чувства. Она хотела, она требовала счастья. И было трудно смотреть, как ясные голубые глаза наполняются слезами и нежные губы искривляются страданием.

Чем мог ответить на это юное чувство Левитан? Ему было бесконечно жаль девушку, и резко прочесть ей проповедь он не решался.

В один из дней, когда Варенька, неопытная и влюбленная, вдруг предложила Левитану тайно бежать с ней, он понял, что этому проклятию не будет конца, в полном отчаянии и страшном приступе меланхолии выстрелил себе в голову.

Выстрел взорвал безмятежность тихой усадьбы.

Левитан лежал в крови. Верховой помчался за врачом. Рана оказалась неопасной. Внимательный врачебный уход и забота Турчаниновой спасли художника. Доктор делал перевязки, но больную душу измученного человека он не мог вылечить.

Так трудно ему никогда не было, и 23 июня он шлет отчаянное письмо Чехову: «Ради бога, если только возможно, приезжай ко мне хоть на несколько дней. Мне ужасно тяжело, как никогда. Приехал бы сам к тебе, но совершенно сил нет. Не откажи мне в этом. К твоим услугам будет большая комната в доме, где я один живу, в лесу, на берегу озера. Все удобства будут к твоим услугам: прекрасная рыбная ловля, лодка».

Левитан ничего не сказал другу о покушении. Чехов с поездкой не торопился, надеясь, что художник, как это часто бывало, справится с мрачным настроением.

Но через неделю пришло письмо Турчаниновой, от которого повеяло настоящей тревогой. Она писала: «...обращаюсь к Вам с большой просьбой по настоянию врача, пользующего Исаака Ильича. Левитан страдает сильнейшей меланхолией, доводящей его до самого ужасного состояния. В минуту отчаяния он желал покончить с жизнью 21 июня. К счастью, его удалось спасти. Теперь рана уже не опасна, но за Левитаном необходим тщательный, сердечный и дружеский уход. Зная из разговоров, как Вы дружны и близки Левитану, я решилась написать Вам, прося немедленно приехать к больному. От Вашего приезда зависит жизнь человека. Вы, один Вы, можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни, а временами бешеного решения покончить с собой. Исаак Ильич писал Вам, но не получил ответа. Пожалейте несчастного».

И Чехов поспешил к Левитану. Тот встретил его радостно, прильнул к нему, познакомил с хозяйкой дома. Тут же сорвал с головы черную повязку. Рана уже зажила. Когда Чехов разговорился с Анной Николаевной, Левитан взял ружье и пошел на озеро. Скоро он вернулся с убитой чайкой и бросил ее к ногам Турчаниновой, как когда-то бросал такую же чайку к ногам Кувшинниковой в Плесе.

5 июля Чехов писал из Горки Суворину: «Сюда я только что приехал и располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса, на берегу озера. Вызвали меня сюда к больному. Вернусь я домой, вероятно, дней через 5, но если напишете мне, то я успею получить. Имение Турчаниновой. Холодно Местность болотистая. Пахнет половцами и печенегам».

Как всегда, сам вид Чехова действовал успокоительно. Левитан даже заулыбался, показывая ему свои любимые места, восхищался его умением сразу располагать всех к себе.

Горкинские жители уже были покорены писателем, старались не пропустить ни одного его слова. Накаленная атмосфера в доме чуть разрядилась. Варя уехала в Петербург. Гость оказался самым лучшим

целителем.

Чехов ни на минуту не переставал быть писателем. Он наблюдал и запоминал: цвет холодного, сумрачного озера, поляны цветов. Он заметил даже маленькую аптечку Турчаниновой и поинтересовался, чем она лечит своих больных. Он слышал, как гувернантка что-то строго внушала по-английски шаловливой Люлю, и обратил внимание на нежную звучность этого имени.

Возвращая Левитана к жизни, Чехов наполнял свою копилку наблюдениями и уехал, увозя в памяти образ старой усадьбы на берегу сурового озера.

Но ненадолго хватило спокойствия, оставленного Чеховым. Левитан опять жаловался ему в письме: «Вновь я захандрил и захандрил без меры и грани, захандрил до одури, до ужаса. Если бы ты знал, как скверно у меня теперь на душе. Тоска и уныние пронизали меня... Не знаю, почему, но те несколько дней, проведенных тобой у меня, были для меня самыми покойными днями за это лето».

И вновь искусство вернуло художника к деятельной жизни. Он отправлялся на озеро вместе с Люлю, которая теперь всегда носила ему краски, а иногда и гребла, еще больше прежнего оберегая здоровье Левитана. Художник писал водяные лилии в упор. И стоило ему привычным движением взять кисть в руки, как вернулось рабочее состояние. Он уже опять был воодушевлен: «работаю такой сюжет, который можно упустить. Я пишу цветущие лилии, которые уже к концу идут».

Снова Люлю, сидя у весел, молча следила за напряженной работой художника, боясь нарушить тишину, и лишь по временам отгоняла тонкой рукой маленьких бирюзовых стрекоз от палитры с красками.

Левитан отдыхал с этой девочкой от всех сложностей, которые так неожиданно окутали его в Горке. Он пошел с ней к озеру ночью и смотрел на лилии при бледно-розоватом освещении луны.

Тяжелое это лето клонилось к концу, а множество чистых холстов стояло по стенам мастерской. Зато близилась осень.

Необычайная прозрачность воздуха, кругом все раздвинулось на многие версты, и за озерами показались деревеньки, которых в знойные дни не было видно. Нежная голубизна бездонного неба и пылающие, как костры, деревья.

Все звонче, все увереннее ложился на холст цвет, то холодный, как сталь, то горячий, как красная медь.

Пасмурным октябрьским днем Левитан приехал к Чехову в Мелихово. По утрам в саду и поле траву и листья белили первые заморозки. На огороде укутывали спаржу, в цветнике пересаживали тюльпаны.

Но 10 октября прояснилось, потеплело, и друзья прогуливались по саду. Чехов был заполнен своей новой пьесой, которую назвал «Чайка».

Левитан забирался в комнатку к Евгении Яковлевне, ему надо было побыть в родной семье, ощутить уют хлопотливой материнской заботы.

В Москве его ждало письмо от Терезы. Вести от родных редко бывали светлыми: непроходимая нищета. А на сей раз сестра вновь просила брата похлопотать о разрешении вернуться ей с семьей в Москве. Спросила, не может ли он обратиться с такой просьбой к Турчанинову.

Да, он был крупным сановником, влиятельным и, верно, не отказал бы Левитану, но он не хотел затруднять его такими сложными хлопотами.

Под впечатлением прочитанного Левитан сразу написал ответ. Письмо это в числе других недавно передали нам родственники художника, живущие в Париже. Как и остальные письма к родным, оно публикуется впервые. Вот эти строки: «Вчера возвратился из деревни и получил твое письмо. Очень тебе сочувствую, понимаю отлично ужас вашего положения, возмущаюсь вместе с вами людьми, обещавшими золотые горы и не сделавшими ничего. Но что я могу сделать, вот в чем вопрос!

Дела мои в этом году из рук вон плохи. Я ничего на выставке не продал, а изменить строй жизни, т. е. уменьшить расходы я не могу, ибо главное, Тереза, это мастерская — без которой я никоим образом не обойдусь.

Таким образом, жизнь идет, траты и на грош не уменьшаются. Достать также permis (разрешение на жизнь в Москве) я не мог ни через Турчанинова, ни через кого-либо другого. Есть вещи, которые кажутся легко исполнимы, но это только на расстоянии.

Если я что-нибудь продам теперь, я сколько смогу вышлю. В настоящую минуту я решительно не могу ничего».

Как трудно написать этот отказ! Левитан всегда помогал родным. Когда Тереза нелегально приезжала в Москву, он нагружал ее подарками и необходимыми вещами для всех детей, платил за них в школы и постоянно отправлял деньги.

Этот отказ не добавляет веселых минут. Левитан сидит в своей удобной мастерской, к которой стремился долгие годы. Осенние этюды,

привезенные из Горки, стоят нераспакованными. Он не может работать. Нет сил...

Как остаться одному с таким отчаянием! Левитан пишет Поленову, просит разрешения приехать к нему. Он чувствует себя в городе таким одиноким.

Это не было воплем малодушия — это жалоба творца, страдающего без творчества.

Как-то композитор Рахманинов рассказывал то же об Л. Толстом: «Возьмите Толстого — если у него болел живот, он говорил об этом целый день. Но горе-то было не в том, что болел живот, а что он не мог тогда работать. Это и заставляло его страдать».

Поленов ответил горячим приглашением. Но Левитан не успел воспользоваться им. «Вдруг, именно вдруг, меня страстно потянуло работать, увлекся я, и вот уже неделя, как я изо дня в день не отрываюсь от холста!»

Одна из фотографий переносит нас в мастерскую Левитана, когда он встал с кистями к своей огромной картине «Осень, вблизи дремучего бора» и забыл о времени, тоске, житейских невзгодах. Теперь это был вновь талантливый художник, и холсты, приставленные к стене, звали его к неутомимости.

Осень и зиму художник был в этом хорошем рабочем состоянии. Он не знал, когда его покинут силы, когда мутная и жесткая рука болезни вновь схватит его за горло и выбросит кисти из рук. Это могло случиться каждый день, но, к счастью, работы так захватили, что не отпускали от себя.

Если бы кто-нибудь вошел в эти дни в мастерскую Левитана, он погрузился бы в осеннюю пору в ее самом веселом убранстве. Этюдов множество: на них уловлена бездна оттенков осенней листвы. Как всегда, осень для него пора бодрости, прилива сил, буйства красок и больших надежд.

В двух картинах, носящих одно название «Золотая осень», Левитан передал все, что накопил, живя возле реки и озера, когда постепенно на его глазах листья берез, кленов, осин озарялись красками своего заката.

Картины стояли на разных мольбертах, и каждая звала к себе художника. Пока от одного почти законченного холста он старался отвыкнуть, к свету придвигался другой мольберт, и на нем другая картина, давно ожидающая последних решительных прикосновений кисти.

От золотой осени, воспоминаний об озере, горкинском боре Левитан переносится на пять лет назад. По волжским этюдам уже написаны картины, принесшие славу русской живописи.

Одно полотно было начато тоже под свежим впечатлением пребывания в Плесе в 1890 году. Но донныне художник не скрепил его подписью.

Часто он видел такую реку. Ветреный день. Волга волнуется, ее синевато-серая поверхность изборождена желтоватыми барашками. Порой в них мелькает яркая розоватость. Небо ясное, удивительно голубое. По нему разбросаны мелкие лохматые облачка.

На темном фоне воды в таком день ослепительно белы корабли и чайки. Их белизну особенно оттеняет розоватая вода в свету и глубоко-синяя в тенях.

В такой ветреный день во время поездки из Плеса в Рыбинск Левитан задумал свою большую картину, которая отличалась от всего, что он написал, живя в Плесе. Мы помним его поэтичные, тихие вечера, мягкие закаты с куполами церквей, раздольную даль уходящей реки, ее пристани, просмоленные баржи, нищие деревеньки и буйные грозовые тучи.

Но картина, которая стояла сейчас на мольберте и близилась к концу, была другой. Левитан показал Волгу неожиданно: деловитой, большой судоходной рекой.

Огромные расцвеченные баржи везут товары по реке. Вдали — пассажирский пароход. Веселая суeta делового дня большой реки. Идут грузы — может быть, на Нижегородскую ярмарку.

На двух баржах — два флага: один русский, другой персидский. Вот она, широкая международная магистраль, соединяющая Восток с Россией, большой торговый путь. Вот когда вспоминаются пушкинские вещице слова: «Все флаги в гости будут к нам».

На первом плане по реке плывет волгарь — то ли бакенщик то ли матрос с баржи, побывавший дома. На первом плане — трудовой человек, которого кормит река и который украсил ее и расписными расшивами и быстрыми пароходами.

Так ошеломляюще ново увидел Левитан любимую реку. Написана картина «Свежий ветер» в новой для Левитана манере. Он увидел множество цветовых оттенков в суровой глади воды. Композиция необычайно монументальна и отвечает идее картины. А сочетание старинных парусных барж и пассажирского парохода говорит о богатом прошлом Волги и ее еще более богатом будущем.

Этот пейзаж-эпопея удивительно близок современной Волге — полноводной, широкой благодаря каналам и грандиозным плотинам.

Замените цветистые баржи, изображенные Левитаном, самоходками, снующими по реке быстро, без надрывающихся буксиров. Представьте себе трехэтажные белые пароходы, стоящие у пристаней по два и по три сразу, и

картина «Свежий ветер» перенесет вас к нашим дням. Так художник словно бы заглянул в будущее, предвидел высокое назначение любимой им реки.

Еще над одним полотном трудился Левитан, отдав ему немало часов. Он назвал его «Ненюфары» и писал по горкинским этюдам с цветущих водяных лилий.

Показанная на Передвижной выставке 1896 года рядом с другими произведениями Левитана, эта картина приводила зрителей в недоумение. «Золотая осень» — предельно обобщенная, как сгусток чувств и впечатлений художника. «Март» — лучезарный, легкий, искристый, воздушный. «Свежий ветер» — с огромными водяными далями и уносящимися ввысь облаками, сохраняющий свежесть и остроту первых впечатлений, хотя и отобранных потом с большой продуманностью.

Но водяные лилии, казалось, принадлежали кисти другого человека — педанта, хладнокровно штудирующего натуру, для которого высшей похвалой служат слова: «Как настоящее!»

Эта картина вызвала много восторженных отзывов тех, кого прежде пугала широкая, смелая кисть Левитана. С облегченной душой они писали: «Листья хороши до полной иллюзии: кажется, что их загнутые углы действительно выступают из плоскости картины, и невольно подходишь к самой картине для того, чтобы удостовериться в том, что подобно другим она написана в одной плоскости».

Но были и такие: «Листы лилий, выписанные с такой восхитительной иллюзией, что некоторые зрители незаметно щупают картину. Это простой каприз, но славной кисти».

Как могло появиться среди этих вдохновенных произведений такое благоразумное полотно? Левитан этой картиной отвечал всем, кто обвинял его в излишней широте и обобщенности письма. Он показал, что писать «как настоящее» может, но не хочет, ибо искусство не в этом. Он отвечал всем, кто пытался встать на пути его живописных дерзаний, тем, кто продолжал высмеивать и травить его в стихотворных фельетонах «Петербургской газеты».

И на сей раз его не обошли вниманием:

«Золотая осень» Левитана —  
Охры доза пребольшая,  
Кисти смелый в холст удар,  
Вот и «Осень золотая»  
И «Музею — дар».

Можно представить себе, как улыбался художник в тиши мастерской, готовя лукавый ответ всем консерваторам в искусстве!

Очень хорошо сказал об этом Ф. Шаляпин, вспоминая о своих задушевных встречах с Левитаном:

«Чем больше я видался и говорил с удивительно душевным, простым, задумчиво добрым Левитаном, чем больше смотрел на его глубоко поэтические пейзажи, тем больше я стал понимать и ценить то большое чувство и поэзию в искусстве, о которых мне толковал Мамонтов.

— Протокольная правда, — говорил Левитан, — никому не нужна. Важна ваша песня, в которой вы поете лесную или садовую тропинку.

Я вспомнил о «фотографии», которую Мамонтов называл «скудной машинной», и сразу понял, в чем суть. Фотография не может мне спеть ни о какой тропинке, ни о лесной, ни о садовой. Это только протокол!..»

Левитан однажды прибег к такому протоколу и то для того, чтобы доказать право на свою, левитановскую песню.

После обычных выставок в Питере и Москве Левитан послал много новых картин в художественный отдел Всероссийской выставки, которая открылась в Нижнем Новгороде весной 1896 года. Он показал полотна, в которых была и молодость, и правда, и высокое живописное мастерство. В них было то, чего до этого не было.

## «ЧАЙКА»

На первом представлении чеховской «Чайки» в Александринском театре две женщины слушали каждое слово пьесы затаив дыхание. Одна из них, русая, с огромной косой и тонким профилем, — писательница Лидия Алексеевна Авилова. Чехов встретился с ней на маскараде и обещал дать ответ на ее вопрос в пьесе, просил внимательно слушать текст.

Она не замечала странного смеха зрителей в драматических местах пьесы, не слышала их неуместных замечаний.

Волнение ее достигло предела, когда Нина Заречная передала на память Тригорину медальон с надписью. Такой медальон с выгравированными внутри словами сама Авилова отослала как-то Чехову. А слова там были такие: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

Подписи не было, но Чехов догадался, от кого подарок. И медальон стал как бы действующим лицом пьесы, целиком, с этой же надписью.

Однако ответ Чехова молодой писательнице был не в этих словах.



Тригорин называет цифры: «Стр. 121, строки 11 и 12».

Авилова вернулась после премьеры и нетерпеливо обратилась к чеховским книжкам. Нет, не в них разгадка цифр. Наконец она открыла указанную страницу своей книжки и прочитала в ней эту фразу: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается».

Так шутливо Чехов ответил своей знакомой, что он узнал ее на маскараде, понял, кто прислал ему брелок, и мягко предостерегал от дальнейших ошибок.

Другой женщиной, которая не замечала провала пьесы и, захваченная ею, позабыла о зрителях, была Лика Мизинова. Она горько плакала, сравнивая судьбу Нины Заречной со своей.

Она любила Чехова давно. Их частые встречи, письма говорили о большом, но каком-то очень осторожном чувстве Чехова. Красавица, на которую оборачивались прохожие, избалованная поклонением, чуть взбалмошная, но простая и обаятельная, она пугала писателя. Не оберегая ли свое искусство от слишком большого искушения, остерегся Чехов от брака с очаровательной девушкой?

Минутами чувство брало верх над разумом, и тогда он восклицал: «позвольте, Лика, закружиться голове от Ваших духов», — но быстро остужал свой порыв, вновь писал шутливые письма, за насмешкой скрывая остроту чувств. Так длилось месяцами, годами...

Лика с отчаянья увлеклась писателем Потапенко, который без мудрствований завел с красивой девушкой роман. У него была жена, дети, он молотил повести и пьесы, едва успевая заработать деньги на широкую жизнь семьи.

Лика уехала с Потапенко в Париж. Вскоре пришло горе: писатель оставил ее одну в незнакомом городе, больную, ожидающую ребенка.

Тогда-то и писала она Чехову о том, что во всех бедах виноват он один, человек, от которого зависело ее счастье.

Лика вернулась в семью Чеховых с опаленными крыльями, глотнув изрядную дозу житейских невзгод. Ее девочка, Христина, воспитывалась у родных в имении Панафидиных и прожила недолго.

Как все это было похоже на судьбу Нины Заречной! Лика не сердилась на Чехова за то, что он перенес в пьесу печальную страницу из ее жизни. Она часто смотрела «Чайку» потом уже в исполнении артистов нового, Художественного театра.

Даже через несколько лет, в январе 1900 года, Мария Павловна писала Чехову: «На твои именины я водила Лику на «Чайку». Она плакала в театре, воспоминания перед ней, должно быть, развернули свиток

длинный».

Несколько дней, проведенных Чеховым у Левитана в Горке, очень заметно сказались во всем колорите пьесы. Он и писал ее осенью, вскоре после посещения больного художника.

Когда побываешь в этих местах, особенно ясно понимаешь, до какой степени пьеса проникнута атмосферой озерного края. И дело, конечно, не только в том, что Чехов сам обозначил место действия, указав город Тверь. Дело также и не в деталях, замеченных Чеховым: в повязке, сброшенной с головы Левитаном, а в пьесе Треплевым; в чайке, убитой художником, а в пьесе тем же молодым писателем, ищущим новых путей.

Нет, пьеса как бы написана на фоне озера. В соседнем имении на берегу озера живет Нина Заречная, воздух напоен озером при луне, участвующим в первом действии. К озеру ведут аллеи в усадьбе Сорина.

Так писатель подмеченное в жизни переносит в свое произведение. Наблюдения помогали создавать сложные образы пьесы. И Нина Заречная, пережившая тяжелую пору, похожую на драму Лики Мизиновой, ушла далеко от нее, опередила ее и стала символом стойкости в преданном служении искусству. Случай, взятый из жизни, — лишь эпизод в биографии героини пьесы.

Левитан увидел «Чайку» только в Художественном театре. После первых спектаклей она покорила Москву. Маша писала автору в Ялту: «Чайка» производит фурор, только и говорят, что о ней. Билетов достать нельзя, на афишах печатают каждый раз «билеты все проданы».

Студенты и курсистки целые ночи простаивали за билетами возле Эрмитажа, где шла «Чайка». Иные приходили со складными стульчиками, пледами, а чтобы не замерзнуть, устраивали на площадке перед театром танцы.

Спектакль смотрели по несколько раз, не считаясь с тем, что так трудно добывались билеты.

8 января Левитан писал Чехову: «Только что вернулся из театра, где давали «Чайку»... я являлся в театр незадолго до спектакля и несколько раз не заставал ни одного места. Вчера решил во что бы то ни стало посмотреть «Чайку» и добыл у барышника за двойную цену кресло.

Вероятно, тебе писали, как идет и поставлена пьеса. Скажу одно: я только ее понял теперь. В чтении она была не особенно глубока для меня. Здесь же отлично, тщательно срепетованная, любовно поставленная, обработанная до мельчайших подробностей, она производит дивное впечатление. Как бы тебе сказать, я не совсем еще очухался, но сознаю одно: я пережил высокохудожественные минуты, смотря на «Чайку»... От

нее веет той грустью, которой веет от жизни, когда всматриваешься в нее. Хорошо, очень хорошо! Публика, наша публика — публика театра Корша, Омон, и тухватило, и она находится под давлением настоящего произведения искусства».

С той поры персонажи пьесы вошли в жизнь художника. Он находит даже нечто общее между собой и Тригориным, который стал рабом писательского труда. Левитан так же сокрушается, что очень устает, но не может бросить своих работ, «как говорит твой Тригорин, ибо всякий художник — крепостной». Он обязан творить хотя бы потому, что обладает талантом.

Поездка на озеро нашла свое отражение и в другом произведении Чехова. В повести «Дом с мезонином» присутствуют дом и парк из Богимова — имения Былим-Колосовского, где Чехов летом снимал дачу.

Героя повести, художника, писатель поселил в этом громадном зале с колоннами, где стоял один широкий диван и стол, «а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией».

Но вот белый дом с террасой и мезонином, в котором жили Волчаниновы, Чехов взял из имения Горка. Мы держим в руках старинный любительский снимок этого дома. Как он похож на тот, который описал Чехов! Сейчас этого дома нет. Но в деревне Доронино, по соседству с Горкой, старики рассказали мне о том, как выглядела усадьба Турчаниновых. Анна Ивановна, младшая дочь Турчаниновой, вспоминала, что в мезонине она жила со своими старшими сестрами.

Озерный край ощущается во многих мельчайших деталях повести.

Начнем с фамилии Волчаниновы. Как она по созвучию близка Турчаниновым! А если вспомнить, что самый корень этого слова — волчан — обозначает название цветка, то и станет понятно, как создавало новую фамилию знакомство Чехова с Турчаниновыми и виденные им огромные поляны с яркими цветами в их имении.

Английский язык, на котором говорят между собой сестры, площадка для лаун-тенниса. Все это оттуда — из Горки. А самое трогательное и непонятное имя Мисюсь, как оно близко по ласковому оттенку к прозвищу Люлю, данному девочке, часто сопровождавшей Левитана на этюды!

И, читая строки: «Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением», —

понимаешь, что это тоже навеяно Левитаном, его прогулками по озеру с младшей Турчаниновой.

Художник, от имени которого ведется рассказ, во многом напоминает Левитана. Это он мечтал: «Как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым».

Это в доме у Анны Николаевны была аптечка, и она лечила больных, даже открыла школу, обучая молодых крестьян разным ремеслам. Не отсюда ли возникли «аптечки и библиотечки», которые высмеивает художник, требуя более решительных мер для изменения жизни изможденного трудом и нищетой крестьянина?

Художника Чехов наделил своими убеждениями и требованиями к жизни. Он еще не имеет ясной программы действий, но представляет себе, что праздность — это бич общества, а труд — лекарство от всех его уродств. Здесь и убеждения Левитана, которые формировались в молодости рядом с чеховскими.

Неустанный труженик Левитан, чуткий ко всем труженикам земли, мог протянуть руку своему единомышленнику, созданному Чеховым. У обоих был один символ веры.

## **ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ**

Отправив в Нижний, на выставку, свои картины, Левитан в начале июня сам уехал туда, побывал в Павильоне Севера, который с таким увлечением оформил Константин Коровин. Он придирчиво требовал от мастеров, чтобы те покрасили стены в серый, дымчатый тон, — тот, который показался ему преобладающим колоритом Севера.

В павильоне лежали шкуры белых медведей, челюсти кита. Но веселее было смотреть на живого тюленя, привезенного с Ледовитого океана. Его научили кричать «ура». Все, кто хотел полюбопытствовать на этот редкий экспонат, уходили обрызганные водой.

Не избежал этой участи и Шаляпин, жадный до всяких диковинок.

Левитан побывал в отдельном павильоне, где Мамонтов выставил панно Врубеля «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович». Шумиха сопровождала эти произведения. На выставку их не приняли: испугала ошеломляющая новизна исполнения. Пресса подвергла эти панно осмеянию. Тогда Мамонтов их купил, выстроил для них отдельный павильон, попросил Поленова дописать то, что не успел огорченный неудачей Врубель. Так закончилось это скандальное происшествие.

В Художественном отделе Левитан, как обычно, испытал возле своих полотен неприятные минуты. Он не любил их на выставках и охотно бы увез в мастерские.

Нижний быстро надоел. Левитан вернулся домой и почти без отдыха очутился в Финляндии. Маршрут случайный, неожиданный, объясняемый только мятежным состоянием.

Около трех недель путешествовал он по Финляндии. Природа не очаровала его, писал мало. Мысли одна мрачнее другой раздирали мозг.

Он бродил по горам, замечал, что все уступы у них сглажены — это сделали века. И снова поднимались гнетущие думы об этих прошедших временах, о миллиардах ушедших человеческих жизней, о тщетности мирского существования.

Он делится своими невеселыми размышлениями с Чеховым. Сердится на себя за то, что не может выйти из тупика одних и тех же сюжетов.

Сумрачная жизнь девяностых годов шла рядом с этими личными страданиями Левитана. И когда он метался в поисках выхода, то бежал не только от себя, но и от этих тисков, которые не давали дышать. Но от них тоже нельзя было скрыться.

Левитан это ясно сознавал. Он писал Чехову: «Какая гадость, скажешь, возиться вечно с собой. Да, может быть, гадость, но будто можем выйти из себя, будто бы мы оказываем влияние на ход событий; мы — в заколдованном кругу, мы — Дон-кихоты, но в миллион раз несчастнее, ибо мы знаем, что боремся с мельницами, а он не знал...»

«Заколдованный круг» все сильнее стягивается, и нет сил его разжать, найти какой-то выход.

Есть только одна область, которая дает отдых от мыслей о безысходности. Когда и в ней осечка, тогда вовсе задыхаешься.

В Финляндии работал мало, время прошло впустую. Сердясь на себя, Левитан вернулся в Москву.

Здесь ждало письмо от художницы Е. Н. Званцевой. Она приглашала его на дачу в Тарталеи, в имение родных, где проводила лето. Он ответил ей:

«Только что вернулся из Финляндии и получил Ваше заказное письмо... Как Вы уже знаете, весь план, приготовленный мной на лето, радикально изменился. В Сибирь не уехал, а очутился в Финляндии — бог ведает зачем... Ничего не сработал, хандрю адски. Теперь в поисках за дачей, хочется оседло поселиться, я слишком утомился в перепутье. Где я устроюсь, еще не знаю. Хотелось бы съездить к Вам, но просто сил не хватит на такой большой переезд».

Званцева жила неподалеку от Нижнего. Но и этот переезд усталому Левитану кажется непосильным. После трагического лета в Горку он больше не ездит. Они видятся с Диной Николаевной урывками, в его редкие приезды в Питер. Иногда она навещает его в Москве. Тогда тихая мастерская превращается в оранжерею. Левитан украшает все комнаты цветами и встречает друга большим праздником.

Но часы встреч коротки. Все дольше разлуки, все чаще письма.

## **СЧАСТЬЕ ИЗДАЛИ**

Когда уж очень уныло на душе, Левитан уходил в дом, стоявший на развилке Большой и Малой Молчановки. Крошечный садик с несколькими деревьями и цветником лежал перед этим особнячком.

Левитан приходил в сад, молча садился около большого стола, за которым Анна Петровна варила варенье, а ее дочка чистила ягоды. Художник был в доме врача Ивана Ивановича Трояновского своим человеком.

Кипит варенье в большом тазу, тихо переговаривается мать с дочерью, а Левитан молчит. Он может так промолчать долго. Ему хорошо здесь.

Потом он войдет в тихую квартирку, сядет на свое любимое круглое кресло, затянутое пестреньким кретоном, и снова просидит молча. К нему, такому, здесь привыкли. Его грустная фигура никого не приводит в изумление.

Наступит пора обеда, он сядет со всеми за семейный стол. Захочет — скажет что-то, а не захочет — послушает, о чем говорят в этой дружной семье.

К вечеру соберутся гости, они тоже не обращают внимания на молчаливого Левитана.

Музыка занимает всех. Анна Петровна садится за рояль, она хорошая пианистка. Иван Иванович встает рядом — у него приятный тенор. Есть в их репертуаре романсы, особенно любимые Левитаном, среди них Грига «Как солнца луч» — тот, который кончается словами о могильном мраке.

Иван Иванович привык исполнять его по просьбе Левитана несколько раз, не меньше трех. Бывает, что после третьего раза художник встанет, торопливо попрощается и уходит. Хозяева не задерживают: так надо. Пора человеку остаться одному.

Трояновский лечил Левитана, в тяжкие времена не отходил от него долгие ночи. Он любил художника и его искусство. Много картин подарил

ему талантливый пациент, а «Владимирку» он повторил для доктора по его заказу.

Иногда к Трояновским заходил композитор Танеев. Кроме своих произведений, он часто играл бетховенские сонаты. А Бетховен для Левитана был чудом, которое не переставало его потрясать.

И он слушал долгие часы совершенную игру композитора.

В декабре 1896 года дочке Трояновских исполнилось десять лет. Отец зашел к Левитану в мастерскую, просил его непременно быть на торжестве. Художник захотел подарить девочке какой-нибудь этюд. Долго пересматривал холсты.

— Это все слишком мрачное для подарка такой юной особе, — сокрушался художник.

Но один холст показался ему достаточно радостным. Это был пейзаж с цветущими яблонями. Автор сделал на нем такую надпись: «Милой деточке Анюрке старый хрыч И. Левитан. 1896».

Подарку были в доме очень рады, особенно сама именинница. Она уже начинала рисовать, и художник похваливал ее детские рисунки. Потом она стала художницей, училась у Серова в Училище живописи.

Одиночество мучило Левитана. Он приходил к Трояновским, когда хотелось побыть в тишине, но вдыхая воздух дружной семьи. Жизнь сложилась так, что на счастье он смотрел только издали.

## ПОД НОВЫЙ ГОД

Снегу в Мелихове иногда наносило так много, что зайцы заглядывали в окна кабинета Чехова. Для этого им надо было только приподняться на задние лапки.

Дорога из Лопасни зимой была несколько легче, но все же на ухабах подбрасывало.

Гости не убоялись этих превратностей и приехали в заснеженное Мелихово встречать Новый, 1897 год.

Незадолго перед этим Чехов писал Лике очень деловито:

«...Так как Вы приедете к нам встречать Новый год, то позвольте дать Вам поручение: на Тверской у Андреева купите четверть (бутыль) красного вина «Кристи» № 17 и привезите. Только не выпейте дорогой, прошу Вас, если не привезете, то мы без вина!»

Поручение исполнено, бутылка поставлена, вино есть.

Долгие годы отец Чехова вел дневник. Он записывал семейные

события кратко, только факты, без оценки, но зато очень точно.

31 декабря он сделал такую запись:

«Полусолнечный день. Приготовление встречи Нового года, чистка и приборка в доме. Новый год встретили в 12 ч. ночи. Своя семья и гости: Лика, Саша Селиванова и художник. Они у нас ночевали. Счастье досталось в пироге дому. В кухне горничные гадали, кому что будет. Вылили из воску мальчика, а в действительности оказалась девочка».

Хорошая ночь, морозная, ясная. Стол заставлен чудесными изделиями Евгении Яковлевны. Чокались, произносили веселые тосты, желали друг другу счастья.

А потом Лика села за пианино и, аккомпанируя себе сама, пела все, что просили. Она была в голосе, воодушевлена.

С особым чувством исполнила романс Чайковского на слова Апухтина. Много силы, задушевности и большого чувства вложила в слова:

Будут ли дни мои ясны, унылы.  
Скоро ли сгину я, жизнь погубя. —  
Знаю одно, что до самой могилы  
Помыслы, чувства и песни и силы  
Все для тебя!!

Страстный призыв умолк. Раскрасневшаяся Лика отошла от инструмента.

Левитан любил романсы Чайковского. Взволнованно он попросил Лику повторить «День ли царит». Но Лика больше не пела.

Все притихли: будто пронеслось по комнате большое, невыплаканное женское горе...

В этот вечер много шутили, дурачились, словно в ранней молодости. Этим близким людям было очень хорошо вместе, они составляли единую семью.

Ели пироги с заложенным где-то счастьем. Каждый хотел, чтобы оно досталось ему. Но никто не был удачлив, поэтому отец и написал, что «счастье досталось дому».

Разошлись поздно, погуляв прежде по расчищенным дорожкам сада, окруженным высокими снежными стенами.

**ТРЕВОГА**



Болезнь сердца, тяжкая, роковая, подкрадывалась незаметно.

Еще 21 декабря 1896 года Чехов записал в дневнике: «У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни».

Его видели элегантным, с красивой тростью в руке. Он по временам держался за сердце, был томен, сетовал на донимающую его болезнь.

Даже близкие друзья поговаривали: «Рисуется». Но через несколько дней сердечный припадок застиг его прямо на лестнице Исторического музея, по которой он поднимался на выставку. Он упал на ступени, и его увезли домой.

Несколько дней отдыха, и Левитан совершает свою обычную прогулку по Кузнецкому мосту или приходит в гости к Карзинкиным: они жили поблизости от него, на Покровском бульваре. Советует художнице Елене Андреевне Карзинкиной сшить серое платье с кружевом возле ворота и оторочить его мехом. Посмотрит ее картины, даст осторожный совет. Пошутит и уж, конечно, скажет комплимент молодой женщине.

И снова никто не подумает, что в этом всегда изысканном, подтянутом человеке можно угадать инвалида, обреченного на большие страдания.

Он был красив во всем, даже в болезни.

Чехов понимает, что угрожает другу. Он встревожен, заходит к профессору, который осматривал Левитана. И 15 февраля 1897 года в его дневнике появляется такая суровая фраза: «Вечером был у проф. Остроумова; говорит, что Левитану «не миновать смерти». Вскоре же сообщает об этом Суворину: «Новостей нет, или есть, но неинтересные или печальные... Художник Левитан (пейзажист), по-видимому, скоро умрет. У него расширение аорты». И о том же художнику И. Э. Бразу, который писал портрет А. Чехова: «Пейзажист Левитан серьезно болен. У него расширение аорты. Расширение аорты у самого устья, при выходе из сердца, так что получилась недостаточность клапанов. У него страстная жажда жизни, страстная жажда работы, но физическое состояние хуже, чем у инвалида».

И вот наступил страшный для Чехова момент. Он прикладывает трубку к сердцу Левитана и слышит, что ему не справиться с неизлечимой болезнью. А говорить можно лишь успокоительные слова, маскировать картину, ясную врачу.

В письмах он откровеннее. Архитектору Ф. О. Шехтелю (их общему приятелю) написал так: «Я выслушивал Левитана: дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук. Это называется в медицине — «шум с первым временем».

Консилиум врачей, заключение профессора Остроумова. Строгий совет — ехать лечиться за границу.

Левитан сам сознает опасность, но успокаивает сестру: «Напрасно, Тереза, ты так встревожилась моей болезнью. Она серьезна, но, при известном благоразумии, с ней можно долго жить. Остроумов, авторитет которого ставят выше Захарова, говорит мне, что улучшение и значительное произошло у меня. Советуют уезжать на юг. Еду за границу, на юг Франции или Италии через две недели».

Опять потянулись станции, пограничные столбы, отели. Он проклинаят свое изгнание, не верит в целебность курортов и мечтает вернуться скорей в свой Трехсвятительский переулок, умереть хоть дома.

Но ванны и лечение оказывают свое действие. Становится чуть легче. И тут же — снова за кисти, «а то так рано складывать оружие больно».

Он поселился у подножья Монблана и был потрясен величием ледников. Писал их, залезал на горы, несмотря на бурные протесты сердца. Величавый покой ледников запомнился. Он пишет Е. А. Карзинкиной: «Из головы не выходят снега и ледники. Это удивительные сюжеты! Недаром греки населили снежную гору Олимп богами. Да там только и может обитать бессмертие и немой покой».

Работать все еще трудно. К тому же из России пришла горькая весть: заболел Чехов. Чахотка.

Оба теперь знают о том, что каждый из них приговорен. Левитан не врач, но он хорошо понимает, что болезнь легких никого не щадит и лечить ее еще не умеют. Недавно она унесла Николая и теперь нависла над Антоном.

Он не может смириться с этой угрозой. Ропщет в письме: «Ах, зачем ты болен, зачем это нужно? Тысячи праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем. Бессмыслица!»

И в другом письме: «Милый, дорогой, убедительнейше прошу не беспокоиться денежными вопросами — все будет устроено, а ты сиди на юге и наверстывай свое здоровье. Голубчик, если не хочется, не работай ничего, не утомляй себя.

Все в один голос говорят, что климат Алжира чудеса делает с легочными болезнями. Поезжай туда и не тревожься ничем. Пробудь до лета, а если понравится, — и дольше».

Они всегда были сдержанны, подтрунивали друг над другом. Но когда пришла такая опасность, то осталась только огромная любовь и несмолкаемая тревога.

## **ИДЕАЛ ПЕЙЗАЖИСТА**

Известный литератор Виктор Александрович Гольцев попросил разрешения побывать в мастерской художника. Был радушно принят. Тишина и полное уединение этого отдаленного от шумов дома сразу настроили гостя на серьезный лад.

Вот здесь, в этом светлом и просторном зале, создавались картины, которые уже давно стали гордостью русского искусства.

Гольцев, как и некоторые другие критики, не считал пейзаж произведением, могущим защищать передовые идеи. Он пришел несколько настроенным, готовясь к спору с пейзажистом.

А вместо спора подчинился обаянию его таланта и личности.

Он увидел на мольберте картину, изображающую борьбу в природе, бурю, которой сопротивляются, извиваясь, тонкие, упругие молодые деревья. Чем больше Гольцев смотрел на этот пейзаж, тем дальше уходило представление о том, что в нем не может быть мысли. Критика захватила борьба, происходящая перед его глазами. Он понял, как способен одухотворить природу талант мыслящего художника.

Гольцева покорили и осенние мотивы. В них огромная любовь художника к природе и еще огромное — к человеку, для которого он трудился. На одном полотне «с прощальным криком улетають журавли» в тихий, ясный осенний день. На другом — печально задумался могучий бор. И вдруг — взрыв чувств, пламя заката, последняя вспышка перед мраком. Как много говорят сердцу эти взбудораженные цветочные записи острых впечатлений художника!..

Привлек внимание гостя и осенний пейзаж, на котором рядом с лесом вьется, уходит вдаль шоссе. «Все, что таится прекрасного в нашей чуждой эффеков природе, весь простор, весь однозвучный как будто на первый взгляд простор родных полей дает нам чувствовать художник».

Не менее хороша и запечатленная им ранняя весна. Сойдет неглубокая талая вода — и проснется природа. Вот уже готовы к жизни молодые деревца, они накануне пробуждения.

Большие чувства испытал критик возле полотен, у которых еще немало потрудится художник. Большие чувства и раздумья вызвали эти картины родной природы, написанные таким глубокомысленным ее истолкователем.

Гольцев поместил в «Русских ведомостях» статью о посещении мастерской Левитана и сознался, что многое для него там оказалось

неожиданным. Он заканчивает несостоявшийся спор такими словами:

«И вот сторонник идейного искусства выходит из мастерской глубоко умиленный. Не противоречие ли это? Нет, нет, тысячу раз нет. Облаками, волною, порывом бури художник ничего не может доказать, но он истолковывает нам природу. Такие картины мог написать только человек, который глубоко, поэтично любит родную природу, любит тою любовью, какую любил Лермонтов — «с вечерними огнями печальных деревень».

За эту сознательную любовь, за это одухотворение природы нельзя в достаточной степени отблагодарить И. И. Левитана».

Много в те годы писали о пейзажах художника. Порою большая часть рецензий на выставки посвящалась разговору о его новых картинах. Но статья Гольцева растрогала художника, он почувствовал, что понят. В тот же день написал автору прочувствованное письмо.

Приятно удивило, что именно Гольцев, ярый приверженец демократического искусства, так проникновенно сказал о его пейзажах. Он привык к тому, что даже в обществе передвижников их считали как бы картинами второго сорта, которые не помогают воспитывать народ. Он достаточно много выстрадал от этого явного непонимания и заблуждения товарищей.

Надолго запомнилось, что сказал передвижник К. В. Лемох о его картине «Над вечным покоем»:

«Как жаль, какое большое полотно, сколько труда положено художником и все для простого пейзажа». И это сказано о картине, в которой наиболее выпукло была выражена драматическая мысль автора.

Поэтому Левитан так радостно откликнулся на теплые слова Гольцева: «Захватить лирикой и живописью Вас, стоящего на стороне идейного искусства, а может быть, простите, даже тенденциозного, признак того, что работы эти в самом деле достаточно сильны». Левитан вспоминает строки Баратынского: «Не помню, как эти стихотворения называются, но там есть дивные мысли, которые удивительно подходят к определению пейзажиста:

С природой одною он жизнью дышал.  
Ручья разумел лепетанье,  
И говор древесных листов понимал  
И слышал он трав прозябанье...

Вот это идеал пейзажиста — изоцирнуть свою психику до того, чтобы слышать «трав прозябанье». Какое это великое счастье! Не правда ли?»

Вернувшись из-за границы, Левитан сразу уехал в имение С. Т. Морозова Успенское. Там его навестил Чехов, а потом так описал свое посещение: «На днях был в имении миллионера Морозова; дом, как Ватикан, лакеи в белых пикейных жилетах с золотыми цепями на животах, мебель безвкусная, вина от Лева, у хозяина — никакого выражения на лице — и я сбежал».

Левитан был настроен менее критично и прожил в Успенском до осени, лишь иногда «освежаясь» поездками в Мелихово или к Трояновскому.

Он не работал. Беспокоили мысли о дальнейшем творческом пути. Впервые очень ясно это выразилось в письме к Е. А. Карзинкиной: «Благодарю Вас, что вспомнили обо мне... Ничего почти не работаю, недовольство старой формой — так сказать — старым художественным пониманием вещей (я говорю в смысле живописи), отсутствие новых точек отправления заставляет меня чрезвычайно страдать».

Силы творческие накапливались, мужали, силы физические заметно таяли. Но, несмотря на это, Левитан не переставал искать новых путей в искусстве, которое становилось все более мужественным, а художественный язык — остро выразительным.

## **ВЕНОК УЧИТЕЛЮ**

Порванный по краям аттестат — документ художника Саврасова. Поперек этого удостоверения, через строки, размашистая надпись: «Означенный в сем аттестате надворный советник Алексей Кондратьевич Саврасов сего 1897 года 26 сентября умер во второй московской городской больнице. Больничный священник Евгений Лавровский».

Его хоронили в холодный дождливый день. Пришли художники, среди них — Левитан.

Через несколько дней в газете «Русские ведомости» была напечатана статья Левитана «По поводу смерти А. К. Саврасова». Никогда прежде и после этого он не брался за перо. Написать простое письмо другу для него всегда было большим трудом.

Но на этот раз художник не смог промолчать и опубликовал свою единственную статью, как венок на могилу старого учителя.

Это статья, в которой тесно словам и просторно мыслям. Удивительно, как в нескольких фразах, сжато и очень точно удалось Левитану раскрыть историю русского пейзажа и в ней — место, отведенное Саврасову.

Ученик назвал учителя одним из самых глубоких русских пейзажистов.

Короткий экскурс в историю: прежде в пейзаже искали эффектных мотивов. Левитан пишет: «Саврасов радикально отказался от этого отношения к пейзажу, избирая уже не исключительно красивые места сюжетом для своих картин, а, наоборот, стараясь отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной стране».

Будто о себе пишет художник, о простоте избираемых мотивов, в которых поет душа пейзажиста, «но в этой простоте целый мир высокой поэзии».

Левитан находит то единственное место, которое по праву принадлежит Саврасову. Он «создал русский пейзаж». Он — талантливый и самобытный мастер.

От него в числе других учеников Левитан принял эстафету правды. Но ведь нельзя же только следовать за учителем. Ибо, как очень верно сказал еще Микеланджело, следовать за кем-нибудь — значит потерять возможность его опередить. Левитан опередил учителя, но не выпускал из рук эстафеты правды.

### **ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!**

Берег озера Сенеж. Еще не работается. Кажется, что это обычная летняя апатия. Много читает.

«Надоест читать, — пишет он Е. А. Карзинкиной, — смотришь на воду, а это почти всегда интересно; надоест вода — книга, и так целые дни. Чем делаешься старше, тем, конечно, общество все менее и менее нужно, хотя подчас хочется людей. Одиночество и благо и страдание». И, конечно, он зовет сюда Чехова: «Вернулся из-за границы и тотчас же переехал в деревню. Живу я здесь в великолепном месте: на берегу очень высокого громадного озера; кругом меня леса, а в озере кишит рыба, даже бывают и крокодилы (это для тебя, видимо, заманчиво?!)»

В лес он брал с собой томик Шопенгауэра. Но просит своего нового знакомого С. П. Дягилева не тревожиться, что под влиянием мрачных мыслей этого философа он станет писать пессимистические пейзажи: «Не

бойтесь, я слишком люблю природу».

Осенью — обычный прилив сил. Чехов тревожится о здоровье Левитана; тот пишет ему правду: «То бодр, то лежу и тяжело дышу, как рыба без воды... Недуг-то достаточно значителен... Очень много работаю. Затяжные мною картины уносят много сил».

Но он не отходит от мольберта. Согласился даже участвовать в иллюстрировании трехтомника Пушкина вместе с товарищами — В. Серовым, К. Коровиным и другими.

Поэзия была для Левитана тем же, что природа и музыка. Нельзя просто сказать, что он любил стихи. Поэтические строки Пушкина, Тютчева, Некрасова стали как бы его собственными мыслями.

И теперь, глядя на три тома Пушкина в светлом кремовом переплете, читая стихи, которые для себя отобрал Левитан, мы словно листаем страницы его самого сокровенного дневника. Слова поэта он переносил в рисунки, он, художник, в это время составлял одно целое с поэтом.

Что же выбрал для иллюстраций Левитан, который не сделал бы ни одного рисунка к произведению, не созвучному его собственным чувствам?

И мы словно проникаем в душу художника. Он мог бы повторить за Пушкиным:

Я пережил свои желанья,  
Я разлюбил свои мечты...

И последние строки, к которым сделан рисунок:

Один — на ветке обнаженной  
Трепещет запоздалый лист!..

Снег и опушка темного леса. Перед ним — тонкое дерево с голыми ветками, и только на одной из них зацепился трепещущий сухой лист.

Сколько чувства, мысли и как скупы они выражены в этой иллюстрации!..

Другой рисунок к стихотворению «Ненастный день потух».

Надо много выстрадать, передумать, чтобы дать к этим строкам рисунок, так точно выражающий мысль поэта. Темный силуэт леса, тревожное мглистое небо, из-за тучи выходит полная луна.

Художник берет и другие стихи Пушкина, в которых надежда, призыв,

вера в будущее.

Он рисует бушующие волны моря, которым нет конца. И обращается к этим волнам вольнолюбивыми строфами поэта:

Прощай, свободная стихия!  
В последний раз передо мной  
Ты катишь волны голубые  
И блещешь гордою красой.

Художнику близки мысли поэта, он согласен с Пушкиным.

Судьба людей повсюду та же;  
Где благо, там уже на страже  
Иль просвещение, иль тиран.

Ему ли не знать справедливости этих слов? Когда кругом так трудно дышать, то и для Левитана остается все меньше целебного воздуха.

Наиболее удачный рисунок, который художник ценил сам и сфотографировал себе на память, относился к любимому стихотворению Пушкина.

Дорога вьется полем, поднимается на пригорок, исчезает за ним. По одну сторону от дороги — две высокие сосны облепили молодые сосенки, и они тесно прижимаются к стволам родителей — дружная их детвора. По другую сторону дороги скучает одинокая сосна.

Так просто и очень ясно выразил Левитан мысль стихов Пушкина:

Здравствуй, племя  
Младое, незнакомое! не я  
Увижу твой могучий поздний возраст.  
Когда перерастешь моих знакомцев  
И старую главу их заслонишь  
От глаз прохожего. Но пусть мой внук  
Услышит ваш приветный шум...

Левитан тоже знал, что не ему дожить до поры, когда возмужает племя младое, незнакомое. Но все творчество его было обращено к этим сильным



людям будущего, которые узнают, как сделать жизнь прекрасной на этой прекрасной земле. Он верил в это и писал свои радостные, полновзвучные полотна для них.

## НАПУТСТВИЕ

Осенью во дворе Училища живописи, ваяния и зодчества с телег разгружали деревья в кадках, зеленый и бурый мох, елки, сухие ветви с пожелтевшими листьями. Распорядился разгрузкой Левитан — вновь приглашенный профессор пейзажной мастерской.

Он был бледен, утомлен, ходил, опираясь на палку. Но оживление блесло в его глазах. Он суетился, весело поглядывал на зеленые растения и попросил внести все привезенное в мастерскую.

Ученики, пришедшие на первое занятие, были удивлены, что попали в лес вместо класса. Они нетерпеливо ждали встречи с профессором.

Пейзажная мастерская была восстановлена после нескольких лет перерыва. Левитан охотно согласился взять на себя руководство: боялся только, хватит ли сил. Но, видимо, эти-то убывающие силы и натолкнули его на решение.

Долгие годы поисков, сомнений, творческих мук. Сколько узнано, постигнуто, как богат опыт! Хочется передать все это другим — молодым, талантливым.

Как всегда, Левитан увлекся. Он делил теперь время между своими картинами и первыми пробами еще робкой ученической кисти. Вспоминалась юность, словно это было так недавно. В этих же классах ходил он неприятный, голодный, но полный больших надежд.

Профессор был очень внимателен. Увидит, кто-то пишет этюд малярными красками, такими, что подешевле, — незаметно даст денег на покупку масляных красок. Подметит бледность, осунувшееся лицо ученика, поможет и ему так, чтобы никто об этом не знал. Жестокая юность никогда не забывалась.

Попав в обстановку леса, ученики писали этюды — каждый, что хотел. Выбор мотива свободен. Надо писать всегда то, что понравилось, взволновало.

Учитель почти никогда не касался своей кистью этюда ученика. Он объяснял, что надо исправить. Говорить умел, слова его были указанием точным, продуманным. Учить надо азам в живописи, хотя бы тому, что мазок кисти должен строить предмет, образовывать его форму.

Вскоре сменилась декорация: мастерская превратилась в оранжерею, она заполнилась цветами. Хризантемы, азалии и бегонии стояли в горшках. Зрелище этого цветочного изобилия было так прекрасно, что рука сама тянулась к кисти.

Левитан увлекал рассказами о том, сколько наслаждения ему доставляет писать цветы. Старался передать эту любовь молодым живописцам. Он был строг и непреклонен в своих требованиях, просил долго искать ракурс, стройную композицию, прежде чем начать писать этюд с живых цветов. Мог очень резко спросить способного, но невнимательного ученика:

— Из чего сделаны ваши цветы? Что это: бумага, тряпка? Нет, вы почувствуйте, что они живые, что налиты соком, тянутся к свету: надо, чтобы от них пахло не краской, а цветами.

Левитан не был больше равнодушен к французским импрессионистам, понимал и признавал манящую силу их искусства. Но сам искал своих путей, влиянию импрессионистов не поддавался, ясно видя впереди более высокую стадию живописной культуры.

Он и учеников наставлял искать свою тропу сразу, не дожидаясь зрелости. Был нетерпим ко всем, кто гнался за модой. Зачем делать то, что уже сделано?

Один из талантливых его учеников, Петровичев, который побывал на выставке французских художников, увлекся фиолетовыми, синими, зелеными тонами. Но пользовался ими неумело, не чувствовал их в природе, а только видел на чужих холстах.

Левитану нетрудно было догадаться, откуда взялась его лиловая страсть. Учитель, для которого всегда и превыше всего была правда, прозвал даже ученика «лиловым господинчиком», убедил его, что колорит природы гораздо богаче раздражающих фиолетовых этюдов. Говорил мягко, приучал глаз видеть в природе все богатство ее оттенков.

Учил прежде всего видеть общее, типичное. Когда оно найдено, легче определить, чего еще недостает для характеристики пейзажа.

Часто слышали ученики такие слова Левитана:

— Дайте красоту, найдите бога, передайте не документальную, но правду художественную. Долой документы, портреты природы не нужны.

Он учил почувствовать суть природы и освободить ее от случайностей.

Интересен один случай. Как-то Курбе писал этюд. Приятель, который был с ним, спросил: «Что это там коричневое вдали, м-е Курбе?»

Курбе долго вглядывался в даль, но ответить не мог, потом увидел коричневый мазок на своем этюде и уверенно сказал:

— Хворост.

И это действительно был хворост. Художник так искусно передал в этюде характерные очертания сухих веток, что их легко было распознать.

Вот к такой точности изображения целого и призывал Левитан своих учеников.

Постепенно Петровичев отходил от своих фиолетовых тонов и пользовался всеми красками палитры. Вскоре он стал одним из любимых учеников. Левитан оценил его талант и великую преданность искусству.

В мастерскую пришел Серов. Он тоже стал теперь профессором Училища и часто бывал у Левитана, который любил «освежать атмосферу» его «глазом».

Петровичев написал тогда свою искреннюю картину «Сараи в сумерки».

Серов посмотрел на нее и сказал:

— А сарайчики-то спят...

В этом коротком замечании прекрасного художника — признание даровитости ученика.

Левитан согласился с мнением товарища:

— До чего же это просто, кажется, проще и не придумаешь...

Серов был часто на устах у Левитана. Надо ему доказать, что художником можно стать лишь ценой большого труда. Он и скажет: «Не бойтесь пота, как Серов», — и расскажет, как много сеансов пишет он портреты, но в живописи Серова никто не заметит, что успех дается лишь ценой жертвенного трудолюбия.

Подойдет разговор к технике живописи, вновь не удержится Левитан, чтобы не привести в пример Серова:

— Можно писать и без мазков, Тициан писал пальцем. Серов тоже иногда пускает в ход большой палец там, где нужно.

При ясной тяге к большим обобщениям Левитан был врагом неоправданного ухарства кисти. Нужны не мазки, а форма.

С одним учеником из-за этого даже произошел крупный разговор. Он уже рисовал довольно уверенно, а писал цветы аляповато, скрывая под внешней свободой мазка полное пренебрежение к форме.

Этюды его нравились некоторым ученикам. Левитан быстро развенчал эту раннюю славу. Он был благовоспитан и мягок в обращении. Но тут вспылал и взволнованно кричал:

— Это черт знает что такое! Что вы делаете? Разве это цветы? Это какая-то мазня, а не живая натура. Нет уж, батенька, потрудитесь не мудрить и не гениальничать раньше времени.

Пришлось ученику обуздать свой мнимый темперамент и заняться серьезной штудировкой натуры.

Но вспышки такие были крайне редки, чаще текли содержательные разговоры. Левитан — удивительный рассказчик, а об искусстве он говорил с большим подъемом. Сами собой его мысли складывались в такие фразы, которые от складывались как афоризмы.

Среди оживленной беседы в кругу молодых пейзажистов Левитан мог неожиданно спросить:

— Любите ли вы стихи Никитина?

Кто-то вспомнил отрывки из хрестоматий.

— Нет, нет, — заволновался Левитан, — знаете ли вы его стихи о природе? Вот хотя бы это.

И начинал читать «Утро». Каждое слово этих бесхитростных строк сопутствовало ему с юности. К концу он воодушевился, мягкий голос его окреп, на бледных щеках даже появился румянец. Последние строчки он произнес так задушевно:

Не боли ты, душа! Отдохни от забот!  
Здравствуй, солнце да утро веселое!

Эти дружеские встречи для пейзажистов были не менее дороги, чем занятия в мастерской. Богатая, разносторонняя образованность Левитана раскрылась перед ними. Он говорил с ними о Бетховене, — и для многих музыка этого гиганта открывалась в новом свете. Он пересыпал свои беседы длинными выдержками из статей Чернышевского — и перед слушателями вставало высокое назначение русского искусства, его будущее.

А иногда Левитан смешил своих молодых друзей. Это случалось, если, приезжая с очередной выставки из Питера, чувствовал себя бодрее. Он был большой насмешник. Читал статьи из газет о выставках и сопровождал их остроумными репликами. Сразу всем ясен взгляд рецензента, вкусы зрителей, оценка вновь показанного произведения.

Однажды он был в особом ударе. На расспросы о питерской выставке ответил так:

— О, есть работы высокой законченности! Чеканка по золоту и серебру. Если хотите, их краски даже красивы, но это красота... продажной женщины за двадцать копеек. Поражен, господа, обилием самоваров. Везде самоварчики...

Это веселое словечко вылетело из мастерской Левитана и быстро привилось в разговорном обиходе. С той поры оно стало синонимом выглаженной, прилизанной живописи, лишенной вдохновения, передающей лишь иллюзию предметов.

Скульптурным классом в Училище руководил Паоло Трубецкой, живший долгое время в Италии.

Молодежь боготворила Трубецкого за несравненный дар ваятеля.

Левитан особенно сблизился со скульптором, когда оба стали преподавателями Училища. Трубецкой вылепил статуэтку с Левитана. Скульптору удалось создать удивительно поэтичный образ художника. Маленькая статуэтка яснее многих слов говорит о том, как глубоко понял скульптор художника за время их недолгой, но горячей дружбы.

Серов, Левитан и Трубецкой — эти три труженика искусства учили и молодежь служить ему безраздельно. Серов в портрете, Левитан в пейзаже и Трубецкой в скульптуре передавали будущим художникам все, чего достигли сами.

Левитан приглашал учеников в свою мастерскую. Не каждый из профессоров так широко открывал для обозрения незаконченные работы. А у него не было секретов, он хотел всеми способами приобщить учеников к большому искусству. Знакомил их даже с экспериментальными работами. Показывая их, говорил: «Это был год опыта».

В это же время сестра просила брата обратить внимание на живописные способности сына, даже взять его к себе в ученики. Левитан предупреждал Терезу от опрометчивого поступка и писал ей: «Что касается Фали, я не знаю что сказать; если он в самом деле талантлив, то имеет еще смысл учить его живописи, но только в том случае... Вообще не надо очень розово представлять себе перспективу его обучения — живой пример я — сколько усилий, труда, горя, пока выбился на дорогу!»

Учитель без устали внушал и молодым художникам, как труден избранный ими путь, каких лишений, жертв и самообладания требует искусство.

Весной 1899 года сняли дачу в Кускове. Левитан часто навещал группу молодых пейзажистов. Опираясь на палку, он обходил всех, когда они писали этюды. После толковал с каждым о том, что увидел в работе ученика.

Хозяйство Левитана вела старушка, которую он называл няней, и каждый раз привозил пакеты с домашней провизией, приготовленной ее заботливыми руками. После неизменной гречневой каши с молоком содержимое профессорских пакетов уничтожалось жрецами искусства с

заметным удовольствием.

Как-то ученик Липкин повез в Москву несколько своих этюдов. Левитану нездоровилось, и он на даче не был. Весной 1900 года он все реже находил силы для загородных поездок.

Ученики послали с Липкиным шутивное письмо, до которых их профессор был большой охотник. Они писали, что даже грачи соскучились о московском госте и непрерывно кричат: «Где Левитан, где Исаак Ильич?!»

Липкин вспоминал: «Левитана это письмо развеселило и порадовало, он любил шутки. «Передайте грачам, что как только встану — приеду. А если будут очень надоедать, попугайте: не только приедет, но и ружье привезет».

В феврале 1900 года на XXVIII Передвижной выставке показывали свои работы ученики Левитана. У П. И. Петровичева были приняты картины «Вешние воды» и «Осенние листья», у Н. Н. Сапунова — «Зима».

Горячность, с какой Левитан относился к преподавательской деятельности, сказала в его письме к Чехову: «Сегодня еду в Питер, волнуюсь, как сукин сын, — мои ученики дебютируют на Передвижной. Больше чем за себя трепещу! Хоть и презираешь мнение большинства, а жутко, черт возьми!»

За короткий срок творчество молодых пейзажистов стало таким близким — ведь в каждой из этих картин была и частица его, левитановского, сердца.

Все реже приезжал Левитан к своим ученикам на дачу, все чаще присылал записки, в которых острым, нервным почерком писал слова приветов.

Май был холодный, дождливый. Один раз профессор не выдержал и приехал все же навестить своих питомцев. Эта встреча походила на прощание. Левитан говорил с каждым учеником отдельно, будто приготовил для него свое напутствие. Всем было очень грустно.

Через несколько дней ученики получили такую записку: «Я не совсем здоров. Вероятно, на дачу больше не приеду. Желаю вам всем хорошенько поработать. До осени. Левитан».

Печальные, разбрелись они в этот день со своими этюдниками.

Мало кто мог сказать: «Я учился у Левитана», — всего несколько человек. Но зато многие поколения художников избрали его своим учителем. И когда размышляют о левитановской школе, возникает целая вереница пейзажистов, которые взяли девизом творчества поэзию и правду в искусстве.

Редкие из них походили по манере на учителя. Он был слишком самобытен. Если кто и пытался писать «под Левитана», то никогда не шел дальше простых повторений, так и не найдя своего пути в искусстве. А Левитан постоянно повторял: «Ценно только то, что ново, повторения не нужны».

В. К. Бялыницкий-Бируля причислял себя к ученикам Левитана, хотя никогда не писал этюда под его руководством. Но он почитал особой удачей судьбы то, что ему довелось иногда пользоваться советами мастера.

Побывав с художником Жуковским в мастерской Левитана, Бялыницкий-Бируля вспоминал:

«Помню, как мы сидели, пораженные зрелищем его прекрасных работ. Но вдруг Левитан подошел к одному из пейзажей и начал жестоко тереть стеклянной бумагой небо. Мы были удивлены. Жуковский толкнул меня плечом. Левитан, заметив наше недоумение и продолжая неистово тереть пейзаж, заговорил: «Видите ли, нужно иногда забыть о написанном, чтобы после еще раз посмотреть по-новому. И сразу станет видно, как много еще не сделано, как упорно и много еще надо работать над картиной. Я сейчас снимаю лишнее, именно то, что заставляет кричать картину».

Эту высокую взыскательность к труду художника оставил Левитан в наследство своим ученикам.

## **К ВЕРШИНАМ**

Суриков любил говорить молодым художникам:

— Вырубил форму и больше не подходи к ней на пушечный выстрел.

Левитан в последние годы стремился именно к такой точной и характерной форме предметов, выраженной немногословно.

Это была пора, когда мастерство его кисти достигло самой высшей точки. Он изучил природу во всех тонкостях и стремился показать ее типичные черты. Все, что мешает замыслу, должно уничтожаться в картине. И нередко этюд, написанный с натуры, обладал большими деталями, чем законченное произведение. Это был высший отбор изобразительных средств, который приходит к художнику вместе с отточенным мастерством.

Чем больше картина освобождалась от ненужных деталей, тем более законченной считал ее художник.

Левитан уже был признан в кругах высшей художественной аристократии, избран академиком, и Чехов посмеивался, что ему больше

нельзя говорить «ты».

Его работы показываются на международных выставках, и он избирается действительным членом мюнхенского художественного общества «Secession».

Но чаще, чем когда-либо, из нескольких картин, привезенных на выставку, он увозит многие обратно в мастерскую. Их ждет разная судьба. Одни еще будут доведены до желаемого. Другие так и простоят прислоненными к стене.

С годами все более сильным становилось стремление к новому. Не ради ложного новаторства, а лишь ради того, чтобы не повторять достигнутого.

Он и учеников наставлял всегда искать новое, считая, что в этих поисках вечная юность художника. Но при этом с грустью добавлял:

— Быть всегда новым — стоит огромного напряжения. Многие не выдерживают...

Трудно было и ему. Но работы последних лет говорят о том, что усилия эти не пропадали даром.

Глядя на них, никому не придет в голову, что они писаны слабеющей рукой, порой в полуобморочном состоянии, когда не было сил выстаивать долгие часы перед холстами. Но он не упускал ни одного часа, когда бы можно было держать кисть.

Есть и среди великих художников не блестящие колористы, но путь развития живописи именно в колористическом обновлении. И Левитан отдавал последние силы, извлекая из своей палитры все новые и новые цветовые решения.

Краткость и выразительность были всегда присущи русскому искусству от Рублева до Репина, получившего медаль «За экспрессию», которой была отмечена его картина «Бурлаки».

Экспрессия и лаконизм были девизами Чехова. Он писал молодому Горькому:

«Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация. В Ваших же затратах чувствуется излишество». Во имя большей «грации» Чехов иногда вырезал удачные фразы чуть ли не со скрежетом зубным.

Полотна Левитана тоже проникнуты грацией. И в своей знаменитой «Золотой осени», писанной по плесскому этюду, он расставил так основные красочные акценты, что в картине нельзя было ничего прибавить и ничего убавить.

Теплый, ясный осенний воздух по-сентябрьски прозрачен. Дорожка



бежит к деревне — мягкая, розоватая. Самое яркое пятно — оранжевое дерево. За ним жалкая изба и сарай. Их обветренные старые бревна согреты осенним солнцем! Сколько мастерства и сколько любви! Поэтому «Золотая осень» долгие годы ждала последних прикосновений кисти, этюд был написан еще в Плесе.

Как напряженный, взволнованный «Музыкальный момент» Рахманинова, настраивает картина Левитана «Последний луч». Дорога круто поднимается вверх. Все погружено в вечерний мрак, и только на пригорке багровый луч уходящего солнца скользит по избам. Это багровое пятно звучит, как набат.

О светлой жизни для обитателей нищенских деревень мечтал Левитан.

Это стремление выразилось наиболее полно в тревожном колорите «Последнего луча». Пейзаж волнует. Да, не умиляет, не вызывает слов восторга, а будоражит. Он лишает покоя. И это хорошо — так и должно действовать на чувства человека подлинное искусство.

Большое смятение в газетах того времени произвел пейзаж Левитана под эпическим названием «Летний вечер». Околица деревушки. Скользнув по верхушке ворот, солнце озарило поле и дальний лес. Картина летнего вечера, переданная художником так просто, скупно и вместе с тем с такой живописной щедростью. Вот где подлинная грация!

Но картина эта была встречена недружелюбно. Некто А. С-ъ из «Московского листка» даже публично возражал против ее приобретения в галерею Третьяковых. Он писал: «Прежде всего мне очень нравится этот только еще начинающийся летний вечер, я чувствую его, я хочу насладиться им. Надо сознаться, что к нему так и тянет...»

Но все эти хорошие слова рассыпаются в дым, когда автор статьи подходит ближе к картине. Оказывается, ее надо смотреть на расстоянии, иначе впечатление теряется. И тогда испуганный критик готов кричать об опасности широкой манеры Левитана, он даже менторски советует ему: «Поменее доверия к себе».

Может быть, этот любитель вылизанных картин предложил бы и архитектуру смотреть на малом приближении. Тогда он увидел бы только несколько кирпичей вместо высокой колокольни.

Этот предостерегающий голос был не единственным. Творческие поиски художника порой даже встречали откровенные насмешки. Левитан шел мимо всего этого хора осторожных блюстителей порядка в искусстве. Он верил, что впереди его ждут еще большие открытия в живописи. Но ведь к ним не придешь, расшаркиваясь перед каждым консерватором.

## ПЕРЕПОЛОХ

Фабриканты и банкиры не желали украшать своих роскошных особняков «лаптежными» картинами передвижников и властно требовали от художников удовлетворения их изощренных вкусов. В среде передвижников царил кризис, а идеологические их противники рвались в бой за «освобождение» искусства из-под эгиды Стасова и «социалиста» Крамского. Малодушные поддавались искушению и продавали свою душу, а люди, верные принципам Товарищества, метались в поисках новых сюжетов. Именно в такое трудное для русского искусства время в свет вышла статья Толстого «Что такое искусство?».

Левитан, сам искавший новых путей, с жадностью накинулся на сенсационную статью Толстого.

Толстовские проповеди заражали многих людей, ищущих правды. Часовников, тот пылкий Часовников, так любивший еще в Училище Левитана, пал жертвой толстовства: бросив искусство, он постригся в монахи и ушел на Соловецкие острова. Каждый раз, вспоминая о трагической судьбе близкого товарища, Левитан погружался в долгое и тяжкое раздумье. Его мучила мысль о том, как мало он сделал, чтобы сохранить Часовникова для искусства.

Сам Левитан прошел тяжкий путь борьбы и слишком ценил реальный мир, чтобы поддаваться иллюзиям Толстого. В пору усталости он как-то подтянул в унылом хоре непротивленцев злу своей «Обителью», но и это было только однажды.

И вот эта статья, в которой Толстой называет современное искусство великим обманом.

«Люди богатых классов требуют от искусства передачи чувств, приятных им, и художники стараются удовлетворять этим требованиям...»

И Толстой пишет, что до тех пор, пока не будут высланы торговцы из храма, храм искусства не очистится.

Он обвиняет искусство богатых в оскудении:

«...круг чувств, переживаемых людьми властвующими, богатыми, не знающими труда поддержания жизни, гораздо меньше, беднее и ничтожнее чувств, свойственных рабочему народу».

Да, это правда, сказанная сильно и смело. Левитан читает дальше: «Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей».

Призывая к уничтожению такого искусства, Толстой выдвигает свой идеал: «...как только религиозное сознание, которое бессознательно уже

руководит жизнью людей нашего времени, будет сознательно признано людьми, так тотчас же само собой уничтожится разделение искусства на искусство низших и искусство высших классов. А будет общее братское искусство...» Обвиняя искусство в отходе от религии, Толстой предаёт анафеме «декадентов», валя в одну кучу Моне и Клингера, Эдуарда Мане и Беклина. Кстати, картин этих художников он никогда не видел в подлинниках.

В своей ярости писатель отлучает от искусства Шекспира, Вагнера и Микеланджело «с его нелепым «Страшным судом».

Вспоминая об открытии в Москве памятника Пушкину, граф Толстой пишет о каких-то мужичках, слепленных им из розового постного сахара, которые не понимают, почему так возвеличили Пушкина, писавшего «стихи о любви, часто очень неприличные».

И, наконец, в своем неистовстве он обрушивается на Бетховена, произведения которого «представляют художественный бред»!!!

Тут Левитан не выдержал и пишет Чехову: «Большой переполох вызывает у нас статья Толстого об искусстве — и гениально и дико в одно и то же время. Читал ли ты ее?»

Письма Чехова к Левитану не сохранились, и мы не знаем, как он ответил на этот вопрос. Но известно письмо Чехова к Суворину и в нем такие строки: «...статья Л. Н. об искусстве не представляется интересной. Все это старо. Говорить об искусстве, что оно одряхлело, вошло в тупой переулочек, что оно не то, чем должно быть, и проч. и проч., это все равно, что говорить, что желание есть и пить устарело, отжило и не то, что нужно. Конечно, голод старая штука, в желании есть мы вошли в тупой переулочек, но есть все-таки нужно и мы будем есть, что бы там ни разводили на бобах философы и сердитые старики».

А в письме из Парижа к Марии Павловне он говорит:

«В Париж приехал я вчера. Был у художницы... (Хотяинцевой А. А.) у нее был Переплетчиков, который стал спорить и ругать Толстого, это напомнило мне Москву и московскую скуку — и я ушел».

Левитан придерживался того же мнения. Среди художников Москвы и Петербурга он был бескорыстнейший и честнейший, скорее шел на нужду, но ни одним холстом не поступился ради угождения вкусам публики, богатых меценатов или двора.

Так же, как Касаткин оставался Касаткиным, воспевающим красками русского пролетария, так и Левитан продолжал быть Левитаном. Своим искренним и неподкупным искусством он боролся против продажных художников за идеалы «искусства бедных».

Года четыре тому назад Левитан встретился в Третьяковской галерее с маститым и прославленным Айвазовским. Когда-то этот человек был истинным художником, влюбленным в морскую стихию, но теперь, обремененный европейской славой, обласканный царями, неаполитанскими королями и турецкими султанами, превратил свою живопись в ходкий товар, картины не писал, а «шпарил» за два часа, за час, за полчаса.

В магазинах продавались фотографии, где Айвазовский сидел с палитрой в руках у мольберта, на который подклеивалась картиночка масляными красками, исполненная в базарном стиле за пять минут, но подписанная автором. И это делал не голодный студент, а генерал, владеющий большим состоянием.

Как далек от него был Левитан, у которого товарищи вырывали картины для выставки, а он их забирал назад в мастерскую и, истязая себя, доводил до совершенства!

Художник писал С. П. Дягилеву: «Дать на выставку недоговоренные картины — кроме того, что это и для выставки не клал, — составляет для меня страдание, тем более, что мотивы мне очень дороги и я доставил бы себе много тяжелых минут, если бы послал их».

Искусство не пошло по пути утопических христианских идеалов Толстого.

В 1898 году выходит в свет первое собрание сочинении Горького, и сам Горький водворяется в тюремный замок. В Германии Кэте Кольвин создаст свою серию «Восстание ткачей», а в Бельгии Константин Менье лепит «Сеятеля» и «Грузчика».

Но Левитан все же почувствовал, что зрители, опираясь на авторитет Толстого, стали с большей яростью набрасываться на все новое, смелое, непривычное, что появлялось на выставках.

Толстой писал: «поддельное искусство, как проститутка, должно быть всегда изукрашено», — и обыватель видел в каждом ярком пятне картины, найденном художником в природе, «блуд» и «декадентство».

### ***КОГДА БЛИЗКИЕ БЫВАЮТ ДАЛЕКИМИ***

Анна Николаевна навестила Левитана в Окуловке. Им так редко удавалось быть вместе. Даже в короткой записочке сестре Левитан сообщает о своей гостье. Многого надо сказать, всего не доверишь письмам. Как хочется поделиться творческими сомнениями с близким человеком!

Но не всегда эти разговоры были спокойны, иные кончались

разногласиями.

Анна Николаевна была в меру самоуверенна и нетерпима к инакомыслящим. Ей казалось, что надо непременно предупредить друга от творческих ошибок, а на самом деле она вмешивалась в область ей далекую, недоступную.

Со вкусом, воспитанным на привычных образцах живописи, Анна Николаевна, конечно, была далека от поисков Левитана последних лет. Она боялась, что путавшее всех «декадентство» заразит и любимого ею человека.

Произошел трагический случай, когда Левитан, всплыв, на ее глазах изрезал в клочья свою картину заходящего солнца, писанную буйными красками, тут же в разгар горячего спора.

Кто знает, может быть, из-за этой вспышки искусство лишилось одной из лучших работ художника...

Так говорит Павел Александрович Смелов, старый ленинградский художник, который хорошо знал Турчанинову.

Мы слушаем его рассказ.

В двадцатых годах Турчанинова уезжала к дочерям в Париж и распродала свои вещи. Интересуясь произведениями искусства, Смелов пришел к ней домой. Он застал ее сидящей у камина. После быстрого знакомства послышались слова:

— Жгу свою молодость...

И Смелов с ужасом увидел, как Турчанинова собиралась бросить в огонь объемистую пачку писем.

— Это — Левитан, — сказала она сквозь слезы. — Жгу свои воспоминания.

Силой убедительных, жарких слов Смелову удалось отстоять эти письма. И вот они в руках у него, эти документы последних шести лет жизни художника. Двести писем — рассказ о его любви к женщине. Горячие, страстные исповеди человека и художника.

Перед войной Смелов отдал перепечатать на машинке все письма, и случилось так, что они пропали. Сейчас след их затерялся, лишь одно сохранилось в копии. И Смелов единственный человек, который знает историю дружбы Левитана с Турчаниновой.

Анна Николаевна в разговорах со Смеловым вспоминала не без гордости, как она пыталась навязывать свои вкусы в то время уже всемирно известному художнику.

Она не была тогда одинока. Некоторые русские интеллигенты, не понимая новой манеры живописи Левитана, спешили ее осудить. Это

судьба многих новаторов.

Мы знаем письмо великой русской актрисы М. Н. Ермоловой к художнику Г. Ф. Ярцеву, в котором она порицает Левитана: «...Многие истинные художники в угоду моде, проклятой моде декадентства, изменили искусству и превратили себя в шутов, посмотрите, что сделал с собой Левитан. Взял да и обратился в декадента мазилку, позорно, недостойно».

И это говорилось именно в то время, когда на выставках появлялись превосходные картины Левитана — простые, понятные, совершенные по форме, те, которые теперь живут рядом со стихами Пушкина. И должно было пройти время, прежде чем интеллигентный мир понял, принял и оценил плодотворные находки вечно ищущего художника.

Интересно и другое письмо, посланное из Парижа физиологом В. Вагнером художнику А. А. Киселеву, когда Левитан уже лежал при смерти. Он писал о своем впечатлении от выставки. Есть в этом письме и такая фраза: «Здесь, на выставке, я еще раз, и вероятно навсегда убедился, что попытка в живописи «передать суть немногими мазками» а la Левитан и К<sup>о</sup> и в ваянии а la Трубецкой — попытки мертворожденных. Этим путем дальше декадентства не пойдешь, а к нему прийдешь прямой дорогой».

Так писал ученый, хороший знакомый Чехова. И мнение его характерно для той атмосферы непонимания, отчужденности, в которой последние годы жил и боролся Левитан.

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова рассказывала мне, как на одной выставке ей с Антоном Павловичем привелось слышать издевательские смешки возле картин Левитана.

Свое невежество зрители выдавали за промах художника. Но Левитан продолжал шагать через тернии, прокладывая широкий путь русскому пейзажу.

В поисках не было никаких декадентских влияний. Его руководителем была природа, она очищала и освежала палитру. А познание души народа делало живопись мужественной и дерзновенной.

У каждого талантливого художника бывает много завистников. Были они и у Левитана. Их злые языки трепали по гостиным рассказы о его личной жизни, злорадствовали, не щадя больного товарища.

Сплетни доводили его до исступления. В осуждающем хоре принимала участие и С. П. Кувшинникова. Но кто думал о жизни художника, которая держалась на волоске! Его не жалели, а травля подтачивала уходящие силы. Да, трудные сплетения личных невзгод с тревогами в искусстве стали союзниками его недуга. Вместе они вели наступление на жизнь художника.

Но Левитан не сдавался и готов был всегда мужественно отстаивать свои взгляды. Один случай подтвердил это качество пейзажиста особенно убедительно.

На выставку передвижников пришел Николай II. Остановясь возле произведений пейзажиста, он сказал, что вот Левитан стал выставлять незаконченные картины.

Услышав эту реплику царя, художник ответил:

— Ваше величество, я считаю эти картины вполне законченными.

Художник пошел на неслыханную по тем временам дерзость, но не изменил своим убеждениям.

### **ОСОБОЕ МНЕНИЕ**

Критик В. В. Стасов всегда оказывался в центре споров. Его высокую колоритную фигуру можно было видеть в окружении художников, литераторов или музыкантов.

Обычно он приходил на выставки передвижников задолго до их открытия и любил присутствовать, когда открывались большие ящики, присланные из Москвы, и оттуда вынимались картины.

Он первым отмечал новое, сильное, произведение демократического искусства, хвалил его тут же громогласно, а потом и в прессе. Обычно он, этот неутомимый защитник правды в искусстве, становился ярким пропагандистом всего талантливого, нового, прогрессивного.

И на сей раз Стасов пришел к передвижникам, когда стучали молотки, развешивались картины, а художники нервно отстаивали лучшее место для своих полотен.

Критик поглядывал с удовольствием на всю эту сутолоку и разговаривал с писателем Д. В. Григоровичем, большим любителем и признанным знатоком искусства.

Стасов порой бывал слишком прямолинеен в своих суждениях и редко соглашался с теми, кто придерживался противоположного мнения. И теперь он с большой убежденностью обрушился на пейзажную живопись.

— Травка, облачка, речоночка — подумаешь только, как все это важно, — говорил критик своим громким голосом. — А позволю спросить: к чему все это, какая в этом польза, кроме украшения господских хоромин?

С таким резким суждением не согласились многие художники, но возражали вяловато.

Григорович горячо отстаивал пейзажу право на жизнь, страстно

возражал Стасову.

— Утверждайте что хотите, — не унимался критик, — а что касается меня, то я готов отдать дюжину прекрасных пейзажей за один посредственный жанр, в котором есть идейное содержание, ибо такое искусство имеет колоссальное воспитательное значение.

Не чая переубедить своего собеседника, Григорович отошел от него. Навстречу ему поднимался по лестнице Левитан. Он был неузнаваем: бледное лицо, впалые щеки. Тяжело дыша, опираясь на палку, художник медленно переступал по ступеням.

Григорович шумно его приветствовал, они обнялись. Отдышавшись, Левитан сказал шутливо:

— А старик все по-старому громы и молнии мечет по нашему адресу.

И он прошел в залы, где развешивались картины.

Нельзя сказать, чтобы Стасов неприязненно относился к творчеству Левитана. Иные картины пейзажиста даже удостаивались ласкового слова критика. Иногда ему казалось, что художник топчется на месте. Он придерживался того мнения, что пейзаж не должен быть самостоятельным жанром. Его назначение лишь служить фоном для картин, изображающих жизнь человека.

Эту мысль Стасов высказывал частенько, но особенно ясно она выразилась в его статье «Искусство XIX века». Он утверждал:

«Мне кажется, чем дальше и дольше будет идти искусство, тем самостоятельнее, полнее и многообъемлюще будет выходить из-под кисти художников портрет человека, зато тем менее самостоятелен будет становиться портрет природы и тем менее будут вкладывать в него художники и зрители своих фантазий, выдумок и произвольных мечтаний. По моему убеждению, пейзаж должен, рано или поздно, воротиться к первоначальной и истинной роли своей, — являться только сценой человеческой жизни, постоянной спутницей, приятной или враждебной, его существования. Пейзаж должен перестать быть отдельной самостоятельной картиной».

Это было заблуждением.

Но Стасов так и не изменил неверного особого мнения. А пейзажистам приходилось отстаивать свое искусство без могучей поддержки критика.

## **«ЗА» И «ПРОТИВ»**

Сергей Павлович Дягилев умел себе подчинять. Это был человек



разносторонних знаний и способностей. Он понимал искусство, знал музыку и театр. Изысканная внешность, темные волосы с яркой седой полосой. В споре бывал деспотичен и неумолим. Он мог быть обаятелен, но мог поступать диктаторски, заносчиво и высокомерно.

Дягилев уже собрал выставку русских и финляндских художников, готовился к международной. Он стал редактором нового журнала «Мир искусства», вокруг которого объединялся кружок художников под новыми девизами.

Основной символ веры Дягилева был отнюдь не нов. Он осуждал тенденцию в искусстве, клеймил передвижников, считая, что они отходят от красоты, и требовал безграничной свободы художника.

Свои туманные взгляды на искусство он изложил в статье, которой открывался первый номер журнала «Мир искусства», вышедший в 1899 году. Другие организаторы журнала и выставок, Д. Философов, А. Бенуа, С. Волконский, вторили своему руководителю, высказывали идеалистические взгляды на роль искусства, уводя его с общественной арены.

Но теории теориями, а к новому кружку льнули молодые силы, которые искали чего-то нового. Шли художники, порой далекие от взглядов теоретиков «Мира искусства».

Их привлекали жаркие дискуссии о современном искусстве, широкое знакомство Дягилева с западной живописью. Левитану тоже хотелось больше узнать о своих товарищах по искусству в других странах. Как это много дает пищи для мыслей, как толкает вперед по своей же дороге! Он завидовал художнику А. В. Средину, живущему во Франции, писал ему: «Быть среди стоящих людей, да еще в Париже, в городе, живущем сильной художественной жизнью, — все. Тут-то и есть центр тяжести всего блага работать в Париже. Заснуть нельзя здесь, мысль постоянно бодрствует, а художник растет. Одно то, что видите много прекрасных произведений, вот уже рост понимания. Вы наслаждаетесь Monet, Cazin, Renard, а у нас — Маковский, Волков, Дубовской и т. п. Нет, жить в Париже благо для художника».

Дягилев и Бенуа угадывали это стремление художников и шли им навстречу. В редакции журнала «Мир искусства» всегда можно было увидеть иностранные издания со многими репродукциями картин.

В самом Товариществе тогда было беспокойно. Репин уже давно вышел из него, не перенеся бюрократизации и перерождения в его рядах. Он продолжал показывать свои работы на выставках передвижников, но разошелся с методами, применяемыми его руководителями.

Он писал об этом еще 28 сентября 1887 года художнику Савицкому:

«...С тех пор как Товарищество все более и более увлекается в бюрократизм, мне становится невыносима эта атмосфера. О товарищеских отношениях и помину нет; становится какой-то департамент чиновников... эта скупость приема новых членов... Эта вечная игра в темную при приеме экспонентов! Всего этого я, наконец, переносить не могу... чиновничество мне ненавистно».

Нестеров вспоминал о том, что они с Левитаном в Товариществе чувствовали себя пасынками.

Новые живописные находки иными передвижниками встречались даже враждебно. И. Э. Грабарь рассказал об одном случае в своих воспоминаниях: «Когда П. М. Третьяков, своим замечательным инстинктом почувствовавший подлинную новизну и значительность картины Серова «Девушка, освещенная солнцем», приобрел ее в 1889 году для галереи, Владимир Маковский на очередном обеде передвижников бросил ему вызывающую фразу: «С каких пор, Павел Михайлович, вы стали прививать вашей галерее сифилис?»

Так сказали о картине Серова, ставшей жемчужиной русской живописи.

Но и в новом кружке у Левитана не оказалось художников, которым он мог бы с открытой душой протянуть руку. Близость была разве что со старыми друзьями, которые хотели вместе с ним примкнуть к группе «Мира искусства», — с Нестеровым, К. Коровиным, Серовым.

Поэтому колебания, сомнения отравляли жизнь, отнимали силы.

Левитан приезжал в Петербург на собрание участников выставки «Мира искусства». Он усаживался в глубокое кресло и наблюдал за тем, что происходило вокруг.

Горячность Дягилева, Бенуа, Философова заражала, но многое в их речах коробило. Левитан, прошедший всю творческую жизнь среди художников демократического направления, не мог привыкнуть к открытым нападкам на передвижников, к барскому высокомерию снобов, третирующих искусство, изображающее лапти и кожухи.

Он слишком много выстрадал сам, слился нераздельно со страданиями русского человека, чтобы отдать все это на поругание кучке обеспеченных молодых людей, видящих красоту лишь в купающихся маркизах.

Нестеров писал: «Выставки «Мира искусства» объединяли талантливую молодежь. Лицо этих выставок ни мне, ни Левитану не было особенно привлекательным: специфически петербургское, внешне красивое, бездушное преобладание «Версалея» и «Коломбин» с их изысканностью, все отзывалось пресыщенностью слишком благополучных

россиян, недалеких от розовых и голубых париков. Не того мы искали в искусстве».

Именно в последние годы Левитан почти каждую картину посвящал деревне. Это были уснувшие избы при свете луны, или яркое жизнерадостное солнце, озаряющее халупы, подпертые от древности бревнами, или деревушка, отрезанная от мира поводомьем. Нельзя найти почти ни одного полотна, в котором художник не исходил бы слезами по нищете.

Как-то Чехов воскликнул:

— Ах, были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его «Деревню», серенькую, жалконькую, затерянную, безобразную, но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя: все бы на нее смотрел да смотрел!

И как эта полоса в творчестве Левитана смыкалась с мыслью Чехова, высказанной им в повести «Мужики»: «...какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься!»

Теории мирискусников, однако, сводились к очень прозаическим итогам. Они вещали о том, что не выносят тенденции в искусстве. Но чьим вкусам потрафляли эти жрецы искусства, не желавшие признавать за ним его утилитарную презренную прозу? Интерьеры, созданные А. Бенуа и другими, расписанные барские особняки. Что это, как не служба на тех, кто может много платить?

Еще раньше возникшее во Франции движение импрессионистов тоже выставило своим девизом не только борьбу против рутинности в живописи, но и против тенденциозности в искусстве. Однако эти художники с любовью переносили на свои холсты сегодняшний Париж, Руан, бульвары, лодочные станции, ландшафты деревенской жизни со стогами сена и полями маков. Эти художники писали все, что их окружало, они любили все современное.

У них даже появляются остро социальные сюжеты. Эдуард Мане откликается на события гражданской войны 1871 года, под впечатлением Парижской коммуны пишет свой прославленный «Расстрел коммунаров». Его же кисти принадлежит трагический «Бар в Фоли-Бержер», «Каменщики на улице Монсье», картина, изображающая ветерана-блужника, идущего по той же улице Монсье, украшенной национальными флагами. Клод Моне посвящает свои холсты вокзалам и полям, Дега — прачкам, Писсарро — крестьянам. Сама жизнь бьет в холстах импрессионистов.

Как далеки от этого проповедники из «Мира искусства», которые

бежали от жизни, правды, современности, отдавая свои кисти напудренным парикам и шелковым кринолинам маркиз!

— Вот Серов увлекается Дягилевым и «Миром искусства», а я что-то не очень. Все-таки Передвижная солиднее и как-то народнее. Ее нужно только немного омолодить, — признавался Левитан своему ученику Липкину.

Но получалось так, что картины Левитана появлялись и на Передвижной и на выставке «Мира искусства».

Двойственность такая мучила не только его. В среде передвижников колебания Нестерова, Левитана, Серова, А. Васнецова встречались очень нервно. В письмах А. А. Киселева к К. А. Савицкому эта тревога проступала особенно отчетливо. Он писал, что справедливы нападки на Товарищество за то, «что оно стареет и отстаёт от искусства». Старики перестают работать. «Между тем, фонды наши падают, число посетителей убавляется год от году, и молодые силы, как Левитан, Серов, уходят от нас. Жутко за будущее, право!»

Еще более решительно эти мысли высказал Дубовской: «Случилось великое несчастье: мы не сумели передать старое боевое знамя передвижничества в молодые, здоровые руки новых членов. И теперь талантливая молодежь пойдет за ушедшими от нас. Идеи передвижничества изживаются, и Товарищество должно было уступить место новым лозунгам. Жизнь идет вперед, а мы упорно хотели остановить ее течение».

В январе 1899 года Левитан побывал на Международной выставке в Петербурге. Она была организована Дягилевым.

Об этой поездке сохранилось единственное письмо Левитана к Турчаниновой. Художница Остроумова-Лебедева читала у П. А. Смелова его заветную пачку писем. Одно из них показалось ей особенно значительным. Она скопировала его, а потом передала в рукописный архив. Так дошел до нас этот важный документ. Приводим его почти целиком.

«В среду я выехал. Едва нашел комнату в Питере. Оставил вещи в гостинице и тотчас на выставку. По обыкновению, я, даже на выставках среднего качества и если есть мои работы, чувствую себя ужасно, но то, что я увидел на международной выставке, превзошло мои ожидания. Представь себе лучших художников Европы и в лучших образцах!

Я был потрясен. Свои вещи — я их всегда не люблю на выставках — на этот раз показались мне детским лепетом, и я страдал чудовищно. Прошло два дня, в которые я не выходил с выставки, и в конце концов я начал чувствовать себя очень хорошо. Русских художников высекли на этой

выставке и на пользу, на большую пользу.

Репин, Серов, я и некоторые другие участники выставки поняли и много поняли в этом соседстве. Весною я видел в Мюнхене русских художников, но не в такой аристократической компании, как здесь. Очень поучительно, и теперь, пережив, я как вострепанный.

Хочется работать, в голове тьма всяких художественных идей, вообще прекрасно. Пускай я телесно устал, но я духом молодею. Эта поездка была необходима; когда мы увидимся, я более обстоятельно объясню мотив. Я очень доволен драньем...»

Соревнование с шедеврами европейского искусства как будто подстегнуло Левитана. Он нашел в себе мужество не прийти в уныние от этих сравнений, а даже с какой-то радостью и еще большей энергией принялся за работу.

Двойственность докучала искреннему Левитану. Показывать работы на двух выставках разных направлений было очень сложно. Требовал решения и главный вопрос: с кем же он — с передвижниками или мирискусниками?

Репин, принимавший участие в журнале «Мир искусства», резко порывает с дягилевцами, возмущенный нигилистическим отношением журнала к реалистическим традициям искусства, и возвращается в Товарищество.

Время доказало и Левитану, что с людьми нового направления он оставался далек. По словам С. Голоушева, «с самого начала это были хорошие союзники, но не единомышленники и не собратья».

Дягилев был настойчив в борьбе за каждого художника. Он писал о Левитане Остроухову: «...все последнее время наиболее близок он был именно к нам и что если нынче он еще не вышел из «передвижников», то это простой случай, откладывавший его выход на год. Счеты с обществом у него были кончены».

Несмотря на уверенность тона, Остроухов не согласился с Дягилевым и привел такие доводы: «Вы пригласили Исаака Ильича стать членом организуемого Вами кружка. Он не перешел к Вам. Он сознательно остался у передвижников. Мы много и долго говорили с ним об этом. Он очень мучительно колебался и решил, как решил.

В Товарищество было послано его письмо, в котором он ответил на запрос правления, что не выходит из Товарищества».

Все передвижники были оповещены о том, что А. Васнецов, М. Нестеров и И. Левитан остаются в прежних отношениях с Товариществом.

«Передвижная как-то народнее...»

Народнее! — вот слово Левитана.

## **ИСКУССТВО — ЭТО ПРИРОДА ПЛЮС ЧЕЛОВЕК**

Великий ботаник Тимирязев любил и знал искусство. Он видел большое родство между ученым, познающим природу, и художником, воспроизводящим ее красоту. Мысль эту выразил так: «Очевидно, между логикой исследователя природы и эстетическим чувством ценителя ее красот есть какая-то внутренняя органическая связь».

Всю жизнь восхищался ученый искусством великого английского художника Тернера. Его пленяли краски этого мастера, умение передавать блеск солнечного цвета, пожар потухающей зари, он называл его величайшим изобразителем природы, искусная рука которого «нашла тайну передавать другим эти впечатления».

Альбомы репродукций с произведений Тернера в библиотеке Тимирязева занимали не менее почетное место, чем труды ученых. Он приезжал в Англию и смотрел в музеях на полотна великого живописца, каждый раз делая для себя открытия, стремясь познать тайну его живописи.

Десятки лет магия красок этого художника начала минувшего века держала Тимирязева в плену. Он даже в 1910 году перевел книгу о нем, снабдив ее предисловием и примечаниями.

В одном из последних примечаний Климент Аркадьевич вспоминал о том, как вместе с Левитаном наслаждался книгой с репродукциями, воспроизводящими произведения Тернера. Он писал: «Живо припоминаю, как, просматривая у меня рисунки этой, как я выразился, «философии ландшафта», бедный Исаак Ильич Левитан горячо сожалел, что, не зная английского языка, не может познакомиться с ее содержанием».

Первая встреча с ученым произошла в большой физической аудитории Московского университета. Тимирязев был давним поклонником искусства Левитана.

Он пришел, когда профессор П. Н. Лебедев показывал Левитану пейзажные снимки через проекционный фонарь. А вскоре и Климент Аркадьевич попросил Левитана посмотреть его фотографии. Художник с живым интересом разглядывал снимки, некоторые даже повторно.

Особенно приглянулась ему фотография, на которой были сняты морские волны, бьющиеся у берега. Художник смотрел этот снимок несколько раз.

Левитан пригласил Тимирязева побывать у него в мастерской, ему

хотелось поделиться с ним опытами последних лет.

Наконец этот день настал. Климент Аркадьевич пришел с женой и сыном. Было начало февраля 1900 года. В мастерской много неоконченных полотен.

Пишется большая картина «Озеро», к ней — этюд. Он-то и понравился ученому богатой, радужной гаммой красок. Ему передано и тревожное настроение картины «Буря-дождь», он оценил несравненную свежесть, правду и чистосердечность незавершенного полотна «Уборка сена».

Взаимные симпатии ясны. Левитан бывает в доме Тимирязевых и находит нескончаемые темы для бесед с ученым. Они вместе рассматривают коллекции, говорят о путях развития русской пейзажной живописи.

Левитан получил в подарок от Тимирязева отпечаток его статьи «Фотография и чувство природы». Ответил письмом: «Приношу Вам также мою глубокую благодарность за брошюру Вашу, которую прочел с большим интересом. Есть положения удивительно глубокие в ней. Ваша мысль, что фотография увеличивает сумму эстетических наслаждений, абсолютно верна, и будущность фотографии в этом смысле громадна. Еще раз благодарю Вас».

Левитан сам любил заниматься фотографией. Снимки заменяли ему путевой дневник. Шишкин охотно пользовался фотографией для своих картин. Левитану в работе она не была нужна. Но он сознавал, что массовое распространение фотографии ставит перед пейзажистами новые, более сложные задачи, и потому был согласен с Тимирязевым, который своей статье предпослал мудрый эпиграф — изречение Бэкона: «Искусство — это природа плюс человек».

На фото — всегда один миг, схваченное мгновение в жизни природы. На картине — образ природы, созданный красками, чувством и разумом человека. Колорит — это не «создание божье», а создание человека. Это язык красок, передающий мысли художника.

Бакшеев так вспоминал о встрече с Левитаном в Плесе: «Однажды, возвращаясь с этюдов, я увидел шедшего мне навстречу Левитана. Я спросил его: «Как работалось? Удачно ли?» — «Ничего не вышло», — отвечал он хмуро. Я не поверил: такой мастер — и вдруг неудача. Немного помолчав, Левитан добавил: «То, что я видел, чувствовал и остро переживал, мне не удалось передать в этюде».

Не удалось передать то, что чувствовал и остро переживал! Вдумайтесь в эти слова, и вам станет ясен источник силы левитановских творений.

Допустите, что десять фотографов пришли и сняли один и тот же ландшафт. Вы получите десять одинаковых фото. И пусть придут десять живописцев и напишут один и тот же ландшафт. Получится десять совершенно разных по настроению, построению, колориту и темпераменту произведений.

«Если деревья, горы, воды и дома, собранные воедино и составляющие пейзаж, могут быть прекрасны, то это не потому, что они прекрасны сами по себе, но благодаря тому, что в них вложены мои идеи и чувства», — писал Бодлер.

Знакомство с К. А. Тимирязевым обещало превратиться в плодотворную дружбу. И только тяжкий недуг художника ограничил полезные обоим встречи.

## МА-ПА

Так сокращенно звали Марию Павловну родные. Совсем молодой она стала главной в семье, прежде — опорой матери, позже — «сестрой Чехова».

В марте 1899 года Мария Павловна писала брату:

«После четырех прекрасных солнечных дней пошел теплый дождик. «Не особенно теплый», — сказал Левитан, который сейчас пришел».

В этом письме — картина отношений Левитана и Маши. Они — близкие друзья. После отъезда Чехова в Ялту для художника нет дома ближе, чем скромное обиталище Марии Павловны. Он бывал здесь запросто, его ждало всегда большое участие и большое скрытое чувство.

Первая романтическая вспышка погашена. Установились дружеские отношения. Сам Левитан испытывал к Маше верные родственные чувства, восхищался ее живописным талантом, помогал стать художницей.

Сколько раз ходили они вместе на этюды, какие только мотивы в Бабкине или Мелихове не переписали!

«Пишет Левитан, а я подсяду рядом и тут же малюю», — вспоминала Мария Павловна.

Часто гостила у них добрая знакомая всей семьи — Мария Тимофеевна Дроздова. Тоже художница, восторженная, искренняя и остроумная девушка, которую Чеховы очень любили.

Она и Маша часто оставляли свои этюды и тихонько становились за спиной Левитана. Могли простаивать молча весь долгий срок, пока не закончена работа. Не было для них большей радости, как проследить за



этюдом от начала до его конца. Стояли как вкопанные, не шелохнувшись.

Левитан в редком письме к Чехову обходился без вопроса о живописи Маши. Даже из-за границы шутливо спрашивал: «Работает m-lle Мари? Скажи, чтоб много работала, а то я приеду и поставлю в угол». Или, «Мария Павловна сделала огромные успехи в живописи. Экие вы, Чеховы, талантливые».

Услышит Мария Павловна, что Левитан вновь заболел. И мчится в Трехсвятительский переулок, узнает, не надо ли чего больному. Успокоится, только когда ему станет легче. В письме к брату коротко скажет, что художник опять на ногах, был с ней в театре или встретился в литературном кружке.

Они вместе поднимают бокалы на юбилее артистки Лидии Яворской или веселятся в компании друзей в ее скромной квартирке после чеховского спектакля.

К Маше несет Левитан свое восхищение новым рассказом Чехова, встретил у нее Марию Тимофеевну, весь вечер проговорил с девушками о писателе и сказал:

— Черт возьми, как хорошо Антоний написал «Даму с собачкой»!

А чтобы не выйти из шутливого тона, принятого в этой семье, добавил:

— Так же хорошо, как я пишу картины.

В Машинной комнате всегда висел рисунок, сделанный Николаем с больного Левитана. На нем дата — 85-й год, именно тем летом произошло бурное объяснение в любви, и ее согласия было достаточно для того, чтобы она стала женой этого талантливого, обаятельного и такого сердечного человека.

Но она предпочла остаться другом и поверенной во всех его делах.

Иногда она получала от Левитана письма. В ранней молодости — влюбленные, горячие. Позже — более спокойные, но всегда очень нежные. Складывались эти письма в стопочки. Сколько над ними передумано, может быть, пролито слез!..

Это ей поведал Левитан о своем восхищении новым произведением Чехова:

«Какую дивную вещь написал Антон Павлович — «Мужики». Это потрясающая вещь. Он достиг в этой вещи поразительной художественной компактности. Я от нее в восторге».

Это ей, дорогой подруге всей жизни, расскажет художник о самом для него страшном:

«Что Вы поддельваете, дорогая моя славная девушка? Ужасно хочется

Вас видеть, да так плох, что просто боюсь переезда к Вам... Мало работаю — невероятно скоро устаю. Да израсходовался я вконец, и нечем жить дальше. Должно быть, допел свою песню».

Это написано летом 1897 года.

Снова наваливается огромное несчастье: еще один тиф. И Мария Павловна видит его измененное до неузнаваемости лицо, темные впадины глаз, страшную бледность. Сердце ее сжимается от боли. А Левитан, еще слабым голосом, говорит ей такие ранящие слова:

— Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на вас, Ма-па.

Сколько раз слышала она это признание, верила в его искренность, но понимала, что все это не для нее!

О. Л. Книппер познакомилась с Чеховым, узнала и Левитана. Однажды вместе с Марией Павловной побывала у него в мастерской.

Он был уже тяжело болен, но вставал с кресла и, опираясь на палку, ходил по мастерской, показывал картины.

Ольга Леонардовна рассказывала:

— Один пейзаж помню. — И, будто всматриваясь в это давнее воспоминание, продолжает: — Лунная ночь. Пригорок. Слева несколько березок. Он говорил, что шесть лет работал эту картину, пока достиг желаемого лунного света.

— А вот этюды Маши, написанные вместе с Левитаном и под его руководством, — показывает Ольга Леонардовна.

Первый — этюд осени, на втором — поле и лес, на третьем, совсем маленьком, — бережок реки.

Вот они, свидетели ярких мгновений, пережитых Марией Павловной в творческом содружестве с великим пейзажистом.

На склоне дней, когда позади уже была большая жизнь, Мария Павловна чуть приоткрыла завесу своих отношений с художником.

Константин Паустовский, побывав в ялтинском домике Чехова, вспоминал об одном таком признании:

«Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка.

Сам не зная почему, но я, выслушав Марию Павловну, сказал:

У каждого, должно быть, была своя «Дама с собачкой». А если не была, то обязательно будет.

Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила».

В Ялте готовились к 90-летнему юбилею Марии Павловны. Е. А. Воронцов — директор городского краеведческого музея — собирал

материал для сборника, посвященного юбилею сестры писателя. Мария Павловна назначила ему час беседы. Воронцов записал эту встречу с юбиляршей. Наиболее трогательные ее воспоминания посвящались Левитану. И хотя со дня его смерти миновало больше полувека, Мария Павловна помнила все свежо и молодо.

Теперь, когда нет в живых уже самой Марии Павловны, мы можем рассказать об ее «святая святых» словами единственного свидетеля этой откровенной исповеди:

«В восемь часов вечера я пришел к Марии Павловне Чеховой...

Мы расположились за столом на веранде-балконе ее комнаты — втором этаже Дома-музея.

Традиционное «Пиногри» и шоколадные конфеты...

На столе перед Марией Павловной лежали две, как она назвала их, сокровенные папки с письмами.

...Наибольший интерес представляли письма И. И. Левитана Марии Павловне.

«Маша», «Ма-па», «Милая, дорогая, любимая Маша» — так начинались письма Левитана».

Мария Павловна рассказала Воронцову о том, как неожиданно объяснился ей в любви Левитан у самой опушки леса, как она была испугана, ошеломлена.

«Мария Павловна вдруг остановилась. В ее глазах блеснули слезы... Как-то неожиданно она оборвала свой рассказ, выпрямилась, тронула пальцами жетон с летящей чайкой, чокнулась с моим бокалом и выпила до дна остатки ароматного выдержанного «Пиногри».

Вокруг было очень темно. Свет электрической лампочки на балконе, где мы сидели, не в силах был разорвать эту тяжелую, почему-то хочется сказать, бархатистую южную темноту.

Внизу густой темной зеленью молчал торжественно-загадочный чеховский сад.

Передо мною на столе лежали письма Левитана, которые еще некоторое время будут неопубликованы.

Собрав письма в стопки, Мария Павловна перевязала их голубыми ленточками.

Было за полночь, когда я на антресолях прощался с Марией Павловной и, как мог, благодарил ее за этот необычайный вечер воспоминаний.

Прощаясь со мной, Мария Павловна, как обычно, поцеловала меня в лоб и почти шепотом сказала:

— А вы, голубчик Евгений Андреевич, не вздумайте об этом писать в

своей брошюре; я ведь вам это рассказала первому. И письма Левитанушки я показала только вам... никому об этом не рассказывайте... Вот умру после юбилея, тогда хозяйничайте...

Возвращался домой я по пустынным окраинным улицам Ялты. Никто не мешал мне думать о чудесном вечере, о самом сильном в мире чувстве... (Записано в 2 часа ночи 25/VI 1953 года)».

Сохранилось только три письма Левитана к Марии Павловне. Их было значительно больше. Возможно, перед самой смертью она уничтожила дорогую тайну, со всей целомудренностью оберегая от посторонних взглядов чувство, которое пронесла через всю жизнь.

Долго хранила Мария Павловна тюбики с красками, палитры, акварельные ящички, муштабель, которые завещал ей художник, как знак высокой оценки ее живописных способностей.

## У ЧЕХОВСКОГО КАМИНА

Байдарские ворота. Линейка остановилась, и пассажиры пошли гулять, любуясь ясной морской далью. Левитан поспешил отправить шуточную телеграмму в Ялту: «Сегодня жди знаменитого академика». Он ехал в гости к Чеховым и в этот же день поднялся по ступенькам нового дома.

Была зима, конец декабря. Но кто этому поверит, когда ярко светит солнце и вся семья высыпала навстречу гостю в летних костюмах.

В Москве он оставил снега и морозы. Здесь увидел зелень кипарисов и пыль на дорогах.

Антон Павлович недавно поселился в новом доме. Многое достраивалось. Даже не во всех комнатах были двери, половицы скрипели, пахло краской.

Левитан подолгу сживал с Чеховым на веранде. Вся Ялта лежала перед ними. Они видели, как издалека подходили парусники и пароходы, как останавливались они в ялтинском порту.

Сада еще не было, существовала лишь мечта о нем. На участке кое-где торчали робкие стволы деревьев, посаженные руками Чехова. Он скучал по северу и хотел на юге вырастить деревья, которые бы зимой сбрасывали листву. Вечнозеленая одежда крымских растений ему приелась.

Выглядел Левитан плохо. Тяжелый недуг уже нельзя было скрыть самой умелой маскировкой. Чехов писал тогда Шаховскому: «У нас Левитан, он в отличном настроении и пьет по 4 стакана чая». Так шутил писатель, но доктор Чехов знал, что другу очень плохо, и не переставал

дивиться тому, как весел бывал Левитан, как посмеивался с гостившей в Ялте Дроздовой и пошучивал с Евгенией Яковлевной. Откуда только у этого изнуренного человека брались нравственные силы для внешней бодрости!

Сидя на тахте в нише чеховского кабинета, Левитан грустнел: обоим было нелегко. Частые покашливания Чехова не давали забыть о грозной серьезности его болезни.

Мария Павловна сияла. Левитан у них в доме не на час-другой, а пройдет еще долгих две недели, прежде чем они проводят его на пароход. Она помогала матери принимать гостей. Забежит в комнаты, послушает, о чем разговор, и — снова за свои дела.

Иногда всей компанией шли гулять на набережную. Это довольно далеко. Пока идешь вниз к морю — легко, зато возвращаться домой тяжело. Шли тихо, отдыхали. Левитан чувствовал каждый ничтожный подъем.

На набережной — толпы гуляющих. Будто весна выплеснулась на ялтинский берег. Обманутые солнцем чайки металась над морем стаями, задевая друг друга крыльями.

Писателя и художника узнавали в толпе. К Чехову ялтинцы привыкли, но художника разглядывали с любопытством.

На набережной был магазин Синани, нечто вроде клуба городской интеллигенции.

Сюда приходили врачи и литераторы, юристы и педагоги. Покупая книгу, разглядывая новый эстамп или картину, они знакомились, заговаривали, и хозяин магазина, сам небольшой художник, был участником этих бесед.

Чехов повел Левитана показывать картины и эстампы. Художник посмотрел на них и со всей откровенностью громко сказал:

— Черт возьми, какую дрянь здесь продают, — и подтверждал свое суждение убедительными доводами.

Чехов молчал, только покашливал довольно часто.

Тихо поднимались наверх. Когда дом уже был близко, Чехов неожиданно сказал:

— А знаешь, ты напрасно так резко разбираешь картины. Это живопись самого владельца магазина, и он стоял, слушал...

Левитан так огорчился, что попросил сейчас же вернуться в магазин. Он вновь заговорил там о развешенных картинах, но теперь уже не тоном возмущенного художника, а терпеливого педагога, старался объяснить автору картин, чем они нехороши и почему так писать не надо.

На прощание Левитан купил две художественные вазы. Одну из них

подарил Чехову, другую увез с собой.

Пришлось снова проделать утомительный путь. Несколько шагов подъема, долгий отдых. И так до самого дома.

В один из ясных солнечных дней Левитану было особенно плохо, и он попросил Марию Павловну подняться с ним в горы.

— Мне так хочется туда, где воздух легче, где легче можно дышать.

Мария Павловна согласилась. Левитан опирался на палку, шли медленно. Когда подъем сделался круче, он дышал еще труднее.

Мария Павловна выглядела привлекательной в светлой летней блузке. Она была добра и внимательна к Левитану, держала его палку за один конец, за другой взялся Левитан. Так они шли.

Вид расстилался перед ними величественный. Огромное море, синее, сливалось с такой же небесной синевой. Ялта, как в чаше, — зеленая, веселая.

Частые остановки, мрачные мысли. От Маши их не скроешь:

— Marie! Как не хочется умирать!.. Как страшно умирать и как болит сердце...

Так же осторожно, держась за оба конца палки, они спустились к дому. Левитан был благодарен Марии Павловне за эту прогулку. Он не вздохнул легче, но зато еще раз побывал на высоте, увидел величие природы, поклонился ей.

В кабинете топился камин. Антон Павлович разгуливал, заложив руки за спину, и сокрушался о том, что ему, прирожденному северянину, приходится жить вдали от снега, берез и глухих лесов.

Левитан попросил Ларису Павловну принести картон, пристроил его в длинном углублении камина.

Разговоры смолкли. Левитан писал. Когда он отошел от картона, все увидели луну, поднимающуюся за стогами. Словно сильным запахом свежего сена повеяло в комнате. Родной пейзаж. Теперь он всегда будет перед глазами Чехова, когда он поднимет их от листочков, исписанных убористым почерком. Он будет напоминать о далекой природе севера и о несравненном художнике.

Картина понравилась Чехову. Он писал о ней О. Л. Книппер: «У нас Левитан. На моем камине он изобразил лунную ночь во время сенокоса. Луг, копны, вдали лес, надо всем царит луна».

В семье Чеховых встретил Левитан Новый год нового века. Что сулит он писателю и художнику?..

Долго стоял Чехов на молу, махая платком, хотя уже и перестал различать фигуру Левитана на палубе удаляющегося парохода.

## НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ

Заряд бодрости, полученный в Крыму, действовал всю зиму. Каждый день Левитан поднимался в мастерскую. Иногда несколько чугунных ступеней казались непреодолимым препятствием. Мешала боль. Прежде чем взять кисти, он пил лекарство. Садился в кресло, сидя смотрел на холст. Поднимался, брал палитру, привычное увлечение гасило острое ощущение боли.

Но несколько минут труда сразу забирали накопленные за ночь силы. Рухнув в кресло, художник тяжело дышал, снова пил лекарство и снова вставал к мольберту.

Так каждый день совершался поединок недуга с острой жаждой творчества. Побеждало искусство. Все дальше продвигались начатые картины. Можно уже отправить на выставку законченные произведения.

Впереди — замыслы, их множество. Достало бы только сил.

Левитан едет в Питер, на выставку передвижников. Возвращается в Москву. Побывал в Художественном театре, где ему особенно понравилась игра Андреевой в пьесе «Одинокие». Он знакомится с артисткой, пишет Чехову о неотразимости произведенного ею впечатления.

Но это повседневная суэта — мимоходом. Главное — там, в мастерской.

Весной пришел Нестеров. Он попал в один из дней, когда Левитан чувствовал себя бодрее. Оживленно говорили о самом волнующем — о новом направлении в русском искусстве. Наступило уже полное разочарование, дягилевцы не оправдали надежд. Было совершенно ясно, что с ними им не по пути. Хотелось даже самим затеять новое общество художников, привлечь в него молодые свежие силы.

Промелькнул вечер. Оживленный беседой, Левитан не замечал утомления и пошел провожать Нестерова. Они брели весенней теплой ночью по бульварам и мечтали о новых выставках единомышленников, собратьев. А если никто не примкнет к их призыву, то они покажут зрителям картины двух художников: Левитана и Нестерова.

Почему-то эта ночь располагала к воспоминаниям. Ожили в памяти студенческие годы, вместе пройденный путь.

На прощание друзья, как всегда, расцеловались, и Левитан пошел той же дорогой домой. На душе было покойно, верилось в жизнь.

Тихая ночь, редкая в эту весну. Она была беспокойная, полная неожиданных ранних гроз. Молнии засверкали чуть ли не в феврале.

Иногда Левитан приезжал к ученикам в Химки. Они поселились в неудобной холодной даче; негде было даже просушить одежду после работы под дождем.

Однажды Левитан провел целый день в лесу, ходил по болотам, мокрым дорогам, продрог и простудился.

Болезнь сразу приняла тяжелый характер. Простуда легла на уже изношенное сердце. И когда в начале мая Чехов навестил Левитана, его сильно встревожило состояние больного. Он вернулся в Ялту, но покоя не находил. Летит письмо в Москву, Книппер: «Как Левитан? Меня ужасно мучает неизвестность. Если что слышали, то напишите, пожалуйста».

А Левитан мечется в жару, сердце изнемогает под непосильным бременем. Сменяются врачи, делая все возможное, чтобы удержать едва тлеющую жизнь.

Приехала в Москву встревоженная Турчанинова. Она проводила возле него бессонные ночи, дралась за жизнь Левитана и не один день отвоевала у смерти своим самопожертвованием.

В тот же день, 20 мая, когда обеспокоенный Чехов спрашивал, как здоровье Левитана, Турчанинова написала ему письмо, напоенное предчувствием горя:

«Антон Павлович, с Вашего отъезда температура каждый день поднималась до 40, вчера 41, упадок полный. Мы совсем потеряли голову. Приглашен еще доктор, который бывает по вечерам, И. И. (Трояновский) — утром. Сегодня утром температура пала до 36,6. Вздохнули мы, но к вечеру опять поднимается. Что-то будет, ужас закрадывается в душу, но я не унываю. Не верю, что не выхожу. Не могу больше писать. Анна».

Тянутся долгие дни и ночи. Надежда мелькнет и снова исчезнет. В одно из мгновений, когда к больному вернулось сознание, он попросил брата сжечь все письма, написанные ему. Сознание вернулось и подсказало, что борьба подходит к концу.

Но когда отступал жар и бред переставал мучить, Левитан мечтал о том, как он теперь будет писать. Словно тяжесть страданий открыла ему новые пути в искусстве.

Иногда его поднимали с постели, и он сидел у окна. А в природе продолжало твориться что-то необычайное, словно она прощалась со своим певцом. В саду во второй раз этим летом зацвела сирень. Ее аромат врывается в открытые окна и напоминал Левитану о днях, когда он в живописном экстазе писал любимые цветы. Глядя на гроздья сирени, засматривающие в окно, Левитан говорил близким:

— Я много выстрадал, многое постиг и многому еще научился за



время моей болезни.

Но надеждам не суждено было осуществиться. Сердце художника остановилось: утром 4 августа 1900 года Левитана не стало.

Серов, потрясенный смертью товарища, приехал на похороны Левитана из-за границы. Нестеров отстоял траурную вахту возле полотен Левитана на Международной выставке в Париже. Черный креп на рамах его картин рассказал ему о горе, постигшем Россию. Умер человек, написавший эти произведения, но отныне в веках живет великий русский пейзажист.

## **ДАРЫ ЗЕМЛЕ**

В мастерской осталось недописанным самое большое левитановское полотно. Он работал над ним самозабвенно. Этой яркой, ликующей по краскам картиной художник как бы прощался с жизнью.

В ней пылкая привязанность к отчизне, преклонение перед роскошью природы и осуждение нищеты человеческой жизни. В этом полотне — весь Левитан, итог его короткой, мучительной и яркой жизни.

Для себя он назвал картину «Русью», для всех подписал: «Озеро». Но мыслилась она именно как «Русь».

Когда вы подходите к этой картине в левитановском зале Русского музея, вас ошеломляет волшебство кисти художника. Он писал ее долго, но считал незаконченной. Мы не видим усилий мастера. Ему же она казалась замученной. Он мечтал подняться после болезни и все прописать заново.

Облака, словно пена, плывут по небу и таким же легким мерцающим отражением придают воде загадочный оттенок. Если Клода Моне называли «Рафаэлем воды», то Левитана можно было с полным основанием назвать «Рафаэлем неба».

Вы ощущаете почти зримо прозрачный осенний день, когда воздух упруг и чист. Вы видите, как быстрая тень чуть касается прибрежного холма.

Чехов и при жизни видел Левитана во весь рост. После смерти он сказал о нем:

— Это такой огромный, самобытный, оригинальный талант. Это что-то такое свежее и сильное, что должно было бы переворот сделать. Да, рано, рано умер Левитан...

В Третьяковской галерее находится портрет Левитана, созданный вскоре после его смерти Серовым. Портретист сверял свою память с

фотографиями, просил позировать Адольфа Левитана. И все-таки вновь остался недоволен этим портретом. Но современники считали, что Серов удивительно верно воссоздал общий характер облика Левитана.

В угольном рисунке великий портретист передал свое восхищение этим прекрасным художником и прекрасным человеком.

Все картины, рисунки, этюды, которые остались в мастерской, музеях, у любителей искусства, — его подарок человечеству.

Удивительно верно сказал об этом М. Горький: «Ведь нет красоты в пустыне, красота — в душе араба. И в угрюмом пейзаже Финляндии нет красоты, — это финн ее вообразил и наделил ею суровую страну свою. Кто-то сказал: «Левитан открыл в русском пейзаже красоту, которой до него никто не видел». И никто не мог видеть, потому что красоты этой не было, и Левитан не «открыл» ее, а внес от себя, как свой человеческий дар Земле».

Люди великой любовью заплатили художнику за этот чудесный дар.

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА И. И. ЛЕВИТАНА

*1860 — 18 (30) августа* — Родился Исаак Ильич Левитан в посаде Кибарты, близ станции Вержболово Ковенской губернии.

*Конец 60-х годов* — Поселяется с родителями в Москве.

*1873* — В августе подает заявление о приеме в Училище живописи, ваяния и зодчества.

*1875* — Смерть матери.

*1876–1879* — Освобождается от платы за учение «ввиду крайней бедности» и отличных успехов.

*1877* — Умер отец. Левитан начинает заниматься в пейзажной мастерской Училища, руководимой Саврасовым. Впервые участвует на Ученическом отделении V Передвижной выставки картинами «Вечер» и «Солнечный день. Весна». За пейзаж получил Малую серебряную медаль.

*1878* — Показал пейзаж «Вид Симонова монастыря» на 1 Ученической выставке Училища.

*1879* — По приказу о выселении евреев из Москвы поселяется в подмосковной деревне Салтыковке. Адольф Левитан написал портрет брата. В октябре зачислен на стипендию имени князя В. А. Долгорукого. Написана картина «Осенний день. Сокольники», в январе будущего года ее купил Третьяков.

*1880* — Увозит больную сестру Терезу в Останкино (под Москвой). Проводит там три лета подряд.

*1881* — Получил Малую серебряную медаль за рисунок с натуры, представленный на годичном экзамене в Училище.

*1882* — Начинает заниматься живописью в Училище у В. Д. Поленова.

*1883* — Прошел курс наук в Училище. Дипломная работа на Большую серебряную медаль и звание классного художника отвергнута советом преподавателей Училища.

*1884* — Принят в число экспонентов Товарищества передвижников. На XII Передвижной выставке показал картину «Вечер на пашне». Весной уезжает с В. В. Переплетчиковым на этюды в Саввинскую слободу (под Звенигородом). В декабре начинает писать декорации для частной оперы Мамонтова.

*1885* — Живет в деревне Максимовке. В приступе меланхолии

покушается на самоубийство. Переезжает в Бабкино. Написал этюд для картины «Река Истра».

1886 — Весной уехал в Крым. Привез много этюдов. Получил из Училища диплом внеклассного художника. Познакомился с художницей С. П. Кувшинниковой.

1887 — Третьяков купил два крымских этюда. Весной впервые поехал на Волгу. Был в Васильсурске. Летом гостил у Чеховых в Бабкине. Осенью — снова на этюды в Саввинскую слободу.

1888 — Во второй раз уезжает на Волгу, живет в Плесе. На XVII Передвижной выставке в феврале будущего года показал картины «Пасмурный день на Волге», «Под вечер».

1889 — В третий раз посещает Волгу. Останавливается снова в Плесе. «Березовая роща», «Вечер. Золотой Плес». «После дождя. Плес», «Золотая осень. Слободка». Осенью начинает работать в мастерской С. Т. Морозова.

1890 — Весной впервые поехал за границу, был во Франции и Италии. Написал пастель «Близ Бордигеры», «Берег Средиземного моря». Летом в четвертый раз поехал на Волгу, жил в Плесе, а оттуда ездил в Юрьевец, Кинешму. Закончил в Плесе картину «Ветхий дворик». Написал «Тихую обитель». Третьяков купил «Золотой Плес» и «После дождя».

1891 — Снимает квартиру в доме С. Т. Морозова. Вступает в члены Товарищества передвижных выставок. Третьяков купил картину «Ветхий дворик». Погостив на даче у Чехова в Алексине, уезжает на лето в Затишье (Тверской губернии). Здесь работает над картиной «У омута». Зимой начинает писать «Свежий ветер».

1892 — Третьяков приобрел картину «У омута». Весной приехал к Чехову в Мелихово. Ссора с А. П. Чеховым из-за рассказа «Попрыгунья». Живет летом в Болдино по Нижегородской железной дороге. Там пишет эскиз к картине «Владимирка». Возвращается в Болдино, так как евреям запрещено жить в Москве. Вернулся в декабре, после получения разрешения. Вариант картины «Тихая обитель» экспонируется в русском отделе Всемирной выставки в Чикаго. Закончены картины «У омута», «Владимирка».

1893 — Серов написал портрет Левитана. Летом живет в имении Ушаковых на озере Островно Тверской губернии. Начинает работать над картиной «Над вечным покоем».

1894 — Принес в дар Третьяковской галерее картину «Владимирка». Весной во второй раз поехал за границу — посетил Вену, Ниццу, Париж. Летом снова уехал в имение Ушаковых на Островенском озере. Знакомство с А. Н. Турчаниновой. К концу лета поселяется в имении Горка (Тверской

губернии). На XIV Периодической выставке экспонируется пастельная сюита.

1895 — В январе Левитан помирился с А. П. Чеховым. Весной живет в имении Горка, пишет картину «Март», этюды «Весна. Большая вода», «Весна, последний снег». В июне пытается покончить жизнь самоубийством. В Горку приезжает А. П. Чехов. Написана «Золотая осень». Зимой закончена картина «Свежий ветер».

1896 — Третьяков приобрел «Март» и «Золотую осень». В художественном отделе Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде было представлено много картин. В Мюнхене на Международной выставке показывались картины «Гроза», «Пасмурный день», «Гумно». После посещения Всероссийской выставки уехал в Финляндию, написал несколько финляндских пейзажей, картину «Остатки былого». Скульптор М. Я. Рис сделала бюст Левитана. Новый год встретил в Мелихове в семье Чеховых.

1897 — Получает звание академика. 4 марта А. Чехов выслушал сердце Левитана и установил его тяжелое заболевание. Третья поездка за границу (Вена, Италия, Швейцария, Германия). Написаны этюды Альп. Лето проводит в Успенском — подмосковном имении С. Т. Морозова. Несколько раз гостит у Чехова в Мелихове. Напечатана статья Левитана на смерть А. К. Саврасова. Картины «Весна. Большая вода», «Шоссе, осень», «Последние хорошие дни осени». Левитана избирают действительным членом мюнхенского художественного общества «Secession».

1898 — Написаны картины «Тишина», работает над картинами «Озеро» («Русь»), «Буря-дождь». Весной — четвертая поездка за границу (Наугейм, Мюнхен, Париж). Май — июнь — на Международной выставке «Secession» были представлены картины; «Над вечным покоем», «Последний снег», «Луг на опушке леса», «У ручья». Лето проводит близ станции Подсолнечное (Московской губернии) в имении Олениных Богородское. В сентябре Левитан становится преподавателем пейзажного класса Училища живописи, ваяния и зодчества.

1899 — На выставку журнала «Мир искусства» даны картины: «Сумерки», «Морской берег», «Альпы», «Закат», «Тишина», «Замок», «Осень», «Вечер». В январе побывал в Петербурге на этой выставке. На XXVII Передвижной выставке показывались: «Ясная осень», «Ночь», «К вечеру». «Буря-дождь», «Ранняя весна». «Сумерки». Летом живет в деревне Окуловка (Новгородской губернии). В Мюнхене на Международной выставке показаны «Стога» и «Тишина». Написаны «Летний вечер», «Последние лучи солнца», «Избы», «Сумерки. Стога», «Сумерки. Сарай».

На мольберте стоит картина «Озеро». 22 декабря уезжает в гости к А. П. Чехову в Ялту. П. П. Трубецкой вылепил статуэтку с И. И. Левитана.

1900 — Участвует в выставке журнала «Мир искусства» несколькими картинами и двадцатью этюдами. В имении Н. В. Мешерина Дугино (Подольский уезд Московской губернии) написан один из последних этюдов с натуры — «В начале марта». Принимает участие в XXVIII выставке передвижников. Весной ездит к ученикам в Химки под Москвой. Продолжается работа над картинами «Озеро» и «Уборка сена». В конце апреля в Химках сильно простудился и тяжело заболел. А. П. Чехов в начале мая навещает больного Левитана. В Русском отделе Всемирной выставки в Париже были представлены картины: «Осень», «Ранняя весна», «Весна». «Лунная ночь».

22 июля (4 августа) в 8 часов 35 минут Левитан умер.

## ИЛЛЮСТРАЦИИ



*И. Левитан в 1879 году.*

*Портрет работы А. Левитана*



*«Вечер на пашне». 1883 г.*





*«Больной Левитан».*

*Рисунок Н. Чехова. 1885 г.*



**«А. П. Чехов».**

**Этюд И. Левитана**



*«Сакля в Алушке». 1886 г.*



*М. П. Чехова. Фотография.*



*«Церковь в Плесе». 1888 г.*





*«Уголок Пlesa». 1888 г.*



*«После дождя. Плес». 1889 г.*





*«Березовая роща». 1885–1889 гг.*





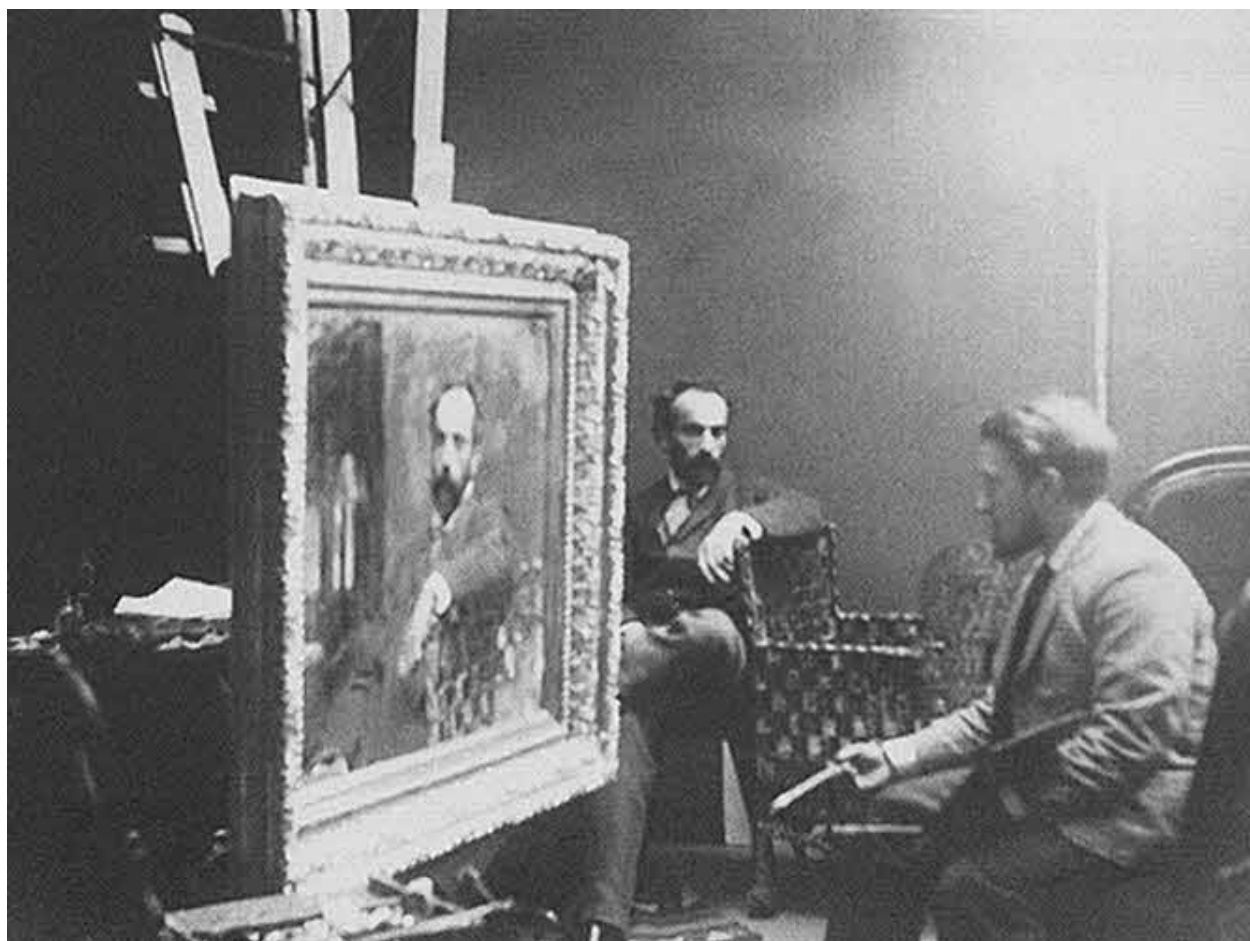
*«Вечер. Золотой Плес». 1889 г.*



*Этюд Левитана. В. Поленов*



*Портрет И. Левитана*



*Левитан позирует Серову. 1893 г.*



*«Свежий ветер». 1895 г.*





*«Над вечным покоем». 1894 г.*



*«Mapm». 1895 г.*



*«Юрвец. В пасмурный день на Волге». 1890 г.*





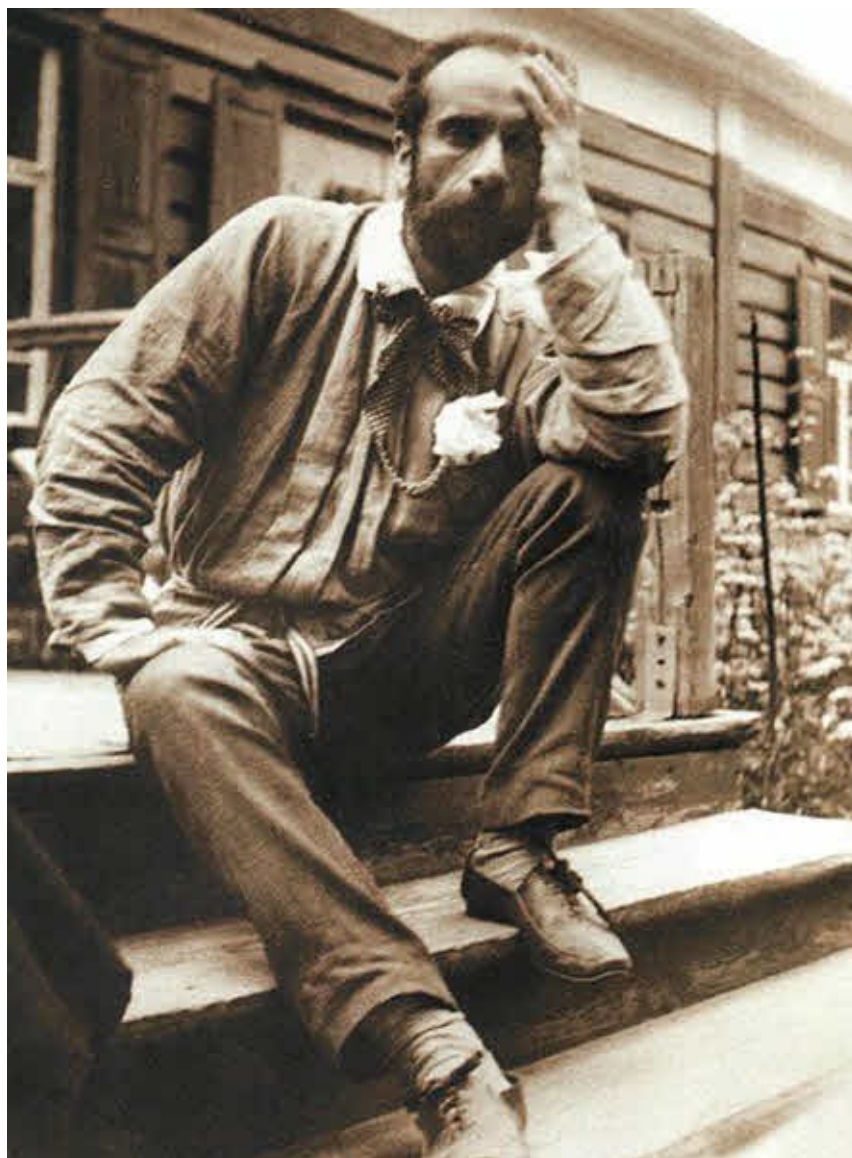
*«И. Левитан». П. Трубецкой. 1899 г.*



*А. Н. Турчанинова. Фотография.*



*«Золотая осень». 1895 г.*



*После этюдов. Фотография.*

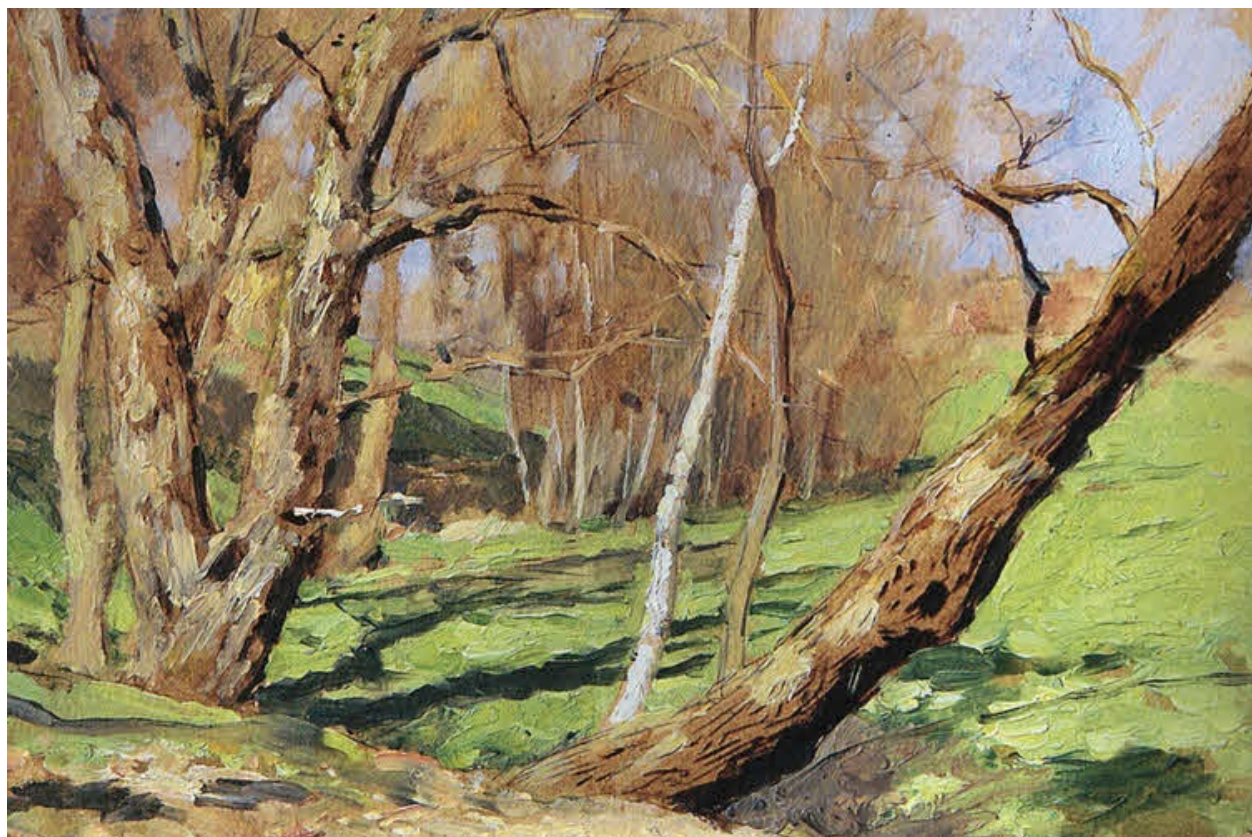




*«Весна. Большая вода». 1896 г.*



*«Сумерки. Стога». 1899 г.*



*«Весна». 1898 г.*





*«Солнечный день. Деревня». 1898 г.*

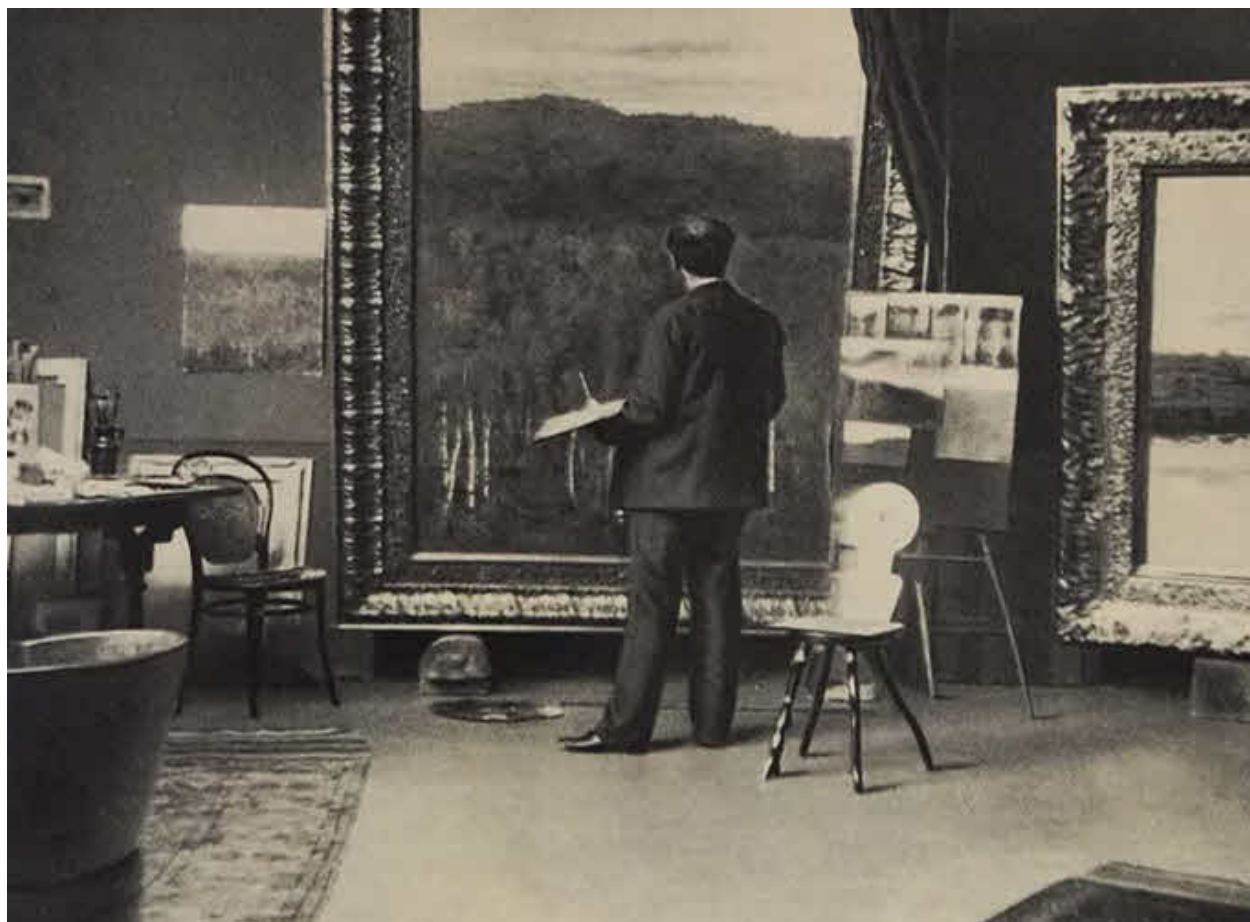




*«Летний вечер». 1900 г.*



*«Озеро». 1900 г.*



*Левитан пишет «Осень вблизи дремучего бора».*

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

*Сергей Глаголь и Игорь Грабарь, Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество.* Издание Кнебель. М., 1912.

И. И. Левитан. Письма, документы, воспоминания. М., изд-во «Искусство», 1956.

Ф. С. Мальцева, Мастера русского реалистического пейзажа. М., изд-во «Искусство». 1959.

*Вермель С. С., Исаак Ильич Левитан и его творчество.* Спб. 1902.

*Ростиславов А. А., Левитан.* Спб. 1911.

*Алпатов М., Исаак Ильич Левитан.* М., изд-во «Искусство», 1945.

*Федоров-Давыдов А. А., Левитан.* М., изд-во «Искусством. 1938.

*Прытков В., Чехов и Левитан.* Изд-во Третьяковской галереи. 1948.

*Лобанов Сергей, Поленов и Левитан М.,* Госиздат, 1923.

*Костин В., Исаак Ильич Левитан.* М., изд-во «Искусство». 1938.

*Гинзбург Изабелла, И. Левитан.* М., изд-во «Искусство». 1937.

*Паустовский К., Исаак Левитан.* М.—Л., Изд-во детской литературы. 1938.

*Евдокимов И., Левитан.* М., Детгиз, 1960.

«Исаак Ильич Левитан (альбом)». М., Изд-во Третьяковской галереи, 1938.

«Левитан» — Альбом репродукций. М., Изогиз, 1957.

«Левитан» — Альбом репродукции. М., «Советский художник», 1960.